

ЎЗБЕК ЈЕНИ ӘЛИФБЕ МӘРКӘЗИИ ҚОМЫТАСЫ

Р 123
П 1413

Prof. J. D. Polivanov

УЗБЕКСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

— и —

УЗБЕКСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

(К современной стадии узбекского языкового строительства)

Профессор Е. Д. ПОЛИВАНОВ

49-4984
Библиотека
УЗГСОСИЗДАТ

УЗГОСИЗДАТ

1933



Сдано в набор 20/IX-33 г.
Подписано к печати: 9/XII-33 г.
Госиздат УзССР № 1569.

Узлит № 830.

Заказ № 2073.

Тираж 3000

Типо-литография № 1 УПУз—Ташкент—33 г.

УЗБЕКСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И УЗБЕКСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

(К современной стадии узбекского языкового строительства).

I.

Ни один из турецких языков СССР не обладает столь резкими диалектическими различиями, как узбекский язык, и ни один другой из турецких языков СССР¹ не представляет, следовательно, столько специфических, — вытекающих из этого диалектологического разнообразия, — трудностей для вопроса о выборе литературного стандартного диалекта и его латинизации.

Упомянутое чрезвычайное разнообразие диалектов и говоров узбекского языка имеет следующие две главнейшие причины (ниже придется нам говорить об этом подробнее, упомянув и другие приводящие причины), именно:

1. Первая основная причина: то, что благодатные оазисы Средней Азии, представлявшие отличные возможности для земледельческого хозяйства, неоднократно, т.е. в различные исторические эпохи, притягивали к себе турецкие племена, относившиеся к разным (а именно: трем) группам турецких языков; из языковых потомков, т.е. потомков по линии языкового преемства, этих, в разные времена оседавших и переходивших к земледелию, турецких племен и сложился нынешний узбекский надколлектив, говорящий на наречиях, генетически относящихся к трем разным группам турецких языков, а именно:

¹ Правда, в крымском — (крымчакском, или по старому — крымско-татарском) языке мы в свою очередь находим совмещение диалектов, относящихся к двум разным группам турецких языков („северо-западной“ и „юго-западной“); но и то, здесь сочетаются элементы только двух групп, а в диалектическом составе узбекского языка мы видим представителей целых трех групп турецких языков (см. ниже).

а) к так называемой „юго-восточной“, или „чагатайской“ группе турецких языков (группа $taq - saŋq^1$),

б) к так называемой „юго-западной“, или „огузской“ группе турецких языков (— группа $daq - saŋ [sa:ŋ]$ ²),

в) к так называемой „северо-западной“, или „кыпчакской“ группе турецких языков (группа $tav - saŋ$ ³).

Следовательно, обще-узбекского праязыка, как такового, никогда не существовало; узбекский язык (как совокупность говоров узб. коллективов) возник именно не из дифференциации (— диалектологического дробления) некогда единой (или более или менее единообразной) узбекской языковой системы, а наоборот, путем об'единения различных в языковом отношении тур. коллективов (на почве усвоения ими единообразной экономической характеристики, т. е. экономических признаков узбекского нацколлектива).

2. Вторая основная причина ⁴ диалектического разнообразия состояла в том, что этим, наполнявшим нынешнюю узбекскую территорию турецким племенам, по крайней мере древнейшим из этих турецких засельников — „чагатайским“ туркам — пришлось вступить во все формы экономической борьбы с прежним иранским населением данной территории и частично войти с ними в некоторую этническую амальгаму, распространяя свой — турецкий, т. е. узбекский — язык (именно „чагатайское“ его наречие) по смешанным, а иногда и почти часто иранским коллективам. В этих последних случаях, когда происходила, следовательно, гибридизация турецкого — узбекского и иранского — таджикского языков, язык — победитель, т. е. узбекский язык, который вытеснял собою иранскую речь, не мог оставаться без изменений, зависящих от этой последней, т. е. от иранского — таджикского языка ⁵. В местах наиболее сильного преоб-

^{1 2 3} Эти условные наименования (употребленные А. Н. Самойлов и чем) состоят из указания отдельных признаков на примерах отдельных слов („гора“ — „желтый“), имеющих в данных группах турецких языков, или в данных наречиях узбекского языка.

⁴ Мы упоминаем ее здесь на втором (а не на третьем) месте потому, что это — положительная, или активная причина, тогда как та экономическая ситуация (в истории узбекского нацколлектива), которая позволила диалектологическому разнообразию сохраниться до нашей эпохи (см. главу II), является уже отрицательной причиной; — потому, несмотря на всю важность этой последней — отрицательной — причины, мы упоминаем ее уже на третьем месте (в перечне причин узбекского диалектического разнообразия) — в следующей главе.

⁵ Как таджикский язык — в лице своего северного (равнинного), или узбекизованного наречия, в свою очередь подвергался изменениям под влиянием узбекского языка. К признакам этого „узбекизованного“ наречия

ладания таджикского элемента дело обстояло, например, так, что таджикское население просто перенимало узбекские слова, и в том или в другом виде узбекскую морфологию, но перекладывала весь этот запас турецких слов и форм слов на свою привычную таджикскую звуковую систему, которой оно пользовалось в то же время и в родном своем таджикском языке. Затем истекал период коллективного двуязычия; таджикский язык забывался вовсе, а узбекский так и оставался метаморфизованным, — переложенным на таджикские звуки (или звукопредставления — фонемы). Так складывались наиболее яркие примеры иранизованных говоров „чагатайского“ наречия узбекского языка — тех говоров, которые в силу утраты ими типичного для турецких языков сингармонизма, нужно называть несингармонистическими. И они, в результате, обладали уже крупной суммой отличий от других — тоже „чагатайских“ — говоров, но стоявших в стороне от более или менее явной гибридизации, — например, от северно-узбекских говоров городов Туркестана и Чимкента, которые так и остались сингармонистическими. Но между этими двумя крайними случаями есть целый ряд промежуточных ступеней — зависящих от сравнительно меньшего объема таджикского влияния, так что в

таджикского языка я отношу, между прочим, следующие черты, разясняемые именно, как результат этой гибридизации (— „узбекизации“), т. е. экономического симбиоза с узбекскими коллективами:

- 1°. Сохранение фонемы \bar{i} (из средне-перс. \bar{o} долготы), т. е. отсутствие перехода $\bar{i} \rightarrow i$ (в связи с этим стоит и северно-таджикская конвергенция \bar{i} долготы с i кратким, а наконец и отсутствие или недопустимость перехода \bar{o} (т. е. \bar{i} из старого персидского \bar{a}) $\rightarrow i$ перед носовыми n m — переход, который встречается, наоборот, в южно-таджикских говорах).
- 2°. Утрата фонем ε и ϵ (в отличие от туз.-еврейского языка, испытывавшего на себе меньшее влияние узбекского, чем чисто таджикские — т. е. не еврейские — говоры северного наречия).
- 3°. Переход конечного v в r , но не в v , как в южно-таджикском (и туз.-еврейском).
- 4°. Сохранение t на конце глагольных форм 3-го лица в роде $me\bar{g}av$ $\rightarrow me\bar{g}avat$ (тогда как в ю.-таджикском и туз.-еврейском это t уже не произносится: сравн. туземно-еврейск. $me\bar{g}u$ || персидск. $me\bar{g}ud$) и некоторых других конечных согласных в единичных словах.
- 5°. Утрату местоимения \bar{i} , сохраненного в южно-таджикском i [из $*\bar{i}$] и в еврейском \bar{i} (которое подразумевает одушевленный предмет, тогда как va] подразумевает неодушевленный предмет).

итоге «чагатайские» говоры узбекского языка можно представить себе в виде целой гаммы последовательных варьаций или типов — то сильно, то менее сильно и, наконец, совсем или почти совсем не иранизированной турецкой речи.

II.

Эти специфические условия (образование узбекского языка из трех разных групп турецких языков и разные степени гибридизации диалектов) находят себе более или менее приблизительную параллель лишь в одном из турецких языков СССР: именно в крымчакском, — национальном языке Крымской республики. Но и то, условия здесь оказываются лишь более или менее сходными, а не равными, поскольку мы будем иметь в виду первую из вышеуказанных причин узбекского диалектологического разнообразия. Мы должны помнить, что в узбекский нацколлектив вошли три генетически-различных наречия — из трех разных групп турецких языков („юго-восточной“, „юго-западной“ и „северо-западной“), а в Крыму мы встречаем только два генетически различных наречия, т. е. элементы только двух групп турецких языков — именно: „юго-западной“ и „сев.-западной“.

Это не воспрепятствует нам, конечно, находить в крымском языке качественные различия между диалектами, впол-

6°. Аналогично образованию Pluralis от личных местоимений «вы», «мы» *şimoho* — сравн. узбекск. *sizlär* → узб.-самарканд. *silär* || ташкентск. *silä*; *moño* — сравн. узб.-ташкентск. *vizä* ← *vizlär* в северно-таджикском образуются глагольные формы 5 лица с добавочным (вторичным) суффиксом -on (наприм. *gaveton* — сравн. узб. ташкентск. *vzäsilä* ← *varasylär*).

7°. Сложный в функциональном отношении родительно-винительный падеж на -a; сравн., например, сев.-таджик. *āspa sāgaş* (|| туз.-евр. *āspa sāraş* || самарк.-эронийск. *ēti vāzi*) под влиянием узбекского: ср. узб.-самарканд. *ēti vāzi* или *ēti vāzi* (о генезисе этого падежа у меня есть особое, подготовленное к печати исследование).

8°. Заимствование узбекской вопросительной частицы -mi.

9°. Усвоение ряда словари х узбекизмов, в некоторых из северных таджикских говоров (а также в определенных говорах восходящих к северно-таджикскому наречию языков) достигающих чрезвычайного обилия, например, в таджикских говорах Панского (ррр) и Чустского (*tüs* ← *cušt*) районов, а также в языке маргеланских *люли* (как и в ферганском — в частности маргеланском говоре туз.-еврейского языка): например, *qulāq* вместо *quş* «ухо, уши», *temig* «железо», *vulut* «облако», *əko* и *ikō* «старший и младший брат» и т. п.

Взаимодействие — при узбекско-таджикской гибридизации — выразилось (как это и обыкновенно бывает) *отнюдь не односторонне*, а именно в виде *обоюдного* влияния: таджикского на узбекский и узбекского на таджикский.

не соизмеримые с различиями между двумя узбекскими диалектами и в частности найти в средне-крымских говорах (Карасубазарского района и пр.) весьма интересные параллели ко многим из узбекских диалектических явлений, возникших на почве гибридизации: подобная гибридизация имела место и в Крыму [сравн. напр. совпадение парных гласных фонем — *ə* ~ *o* и т. п., являющееся разложением сингармонистического вокализма]. Но останавливаться здесь на этих сравнениях, мы здесь, конечно, лишены возможности.

III.

Конечно, в решении вопроса об узбекском стандартном языке вовсе не существовало бы почти всех тех трудностей, которые в нем существуют сейчас, если бы в узбекском нацколлективе уже произошел (в одну из минувших эпох) отбор устного стандартного диалекта, т. е. диалекта, который сыграл бы роль междурайонного языкового объединения узбекской национальности: иначе говоря, если бы в узбекском нацколлективе уже существовала разговорная койнэ [*koïné dialéktos* — греческий термин, буквально — „общий диалект“, т. е. общий для данной национальной территории диалект междурайонного значения], подобная, напри- м., московскому говору в устах господствующего класса дореволюционной России, токиоскому говору у японской буржуазии (и буржуазной интеллигенции) всех районов современной Японии и т. д. и т. д.

Но узбекской устной „койнэ“ не существовало, и не могло существовать: она не могла быть создана в течение всей дореволюционной истории узбекского нацколлектива потому, что на всем протяжении этой истории (ни до русского завоевания, ни во время царизма) Узбекистан не обладал той экономической ситуацией, т. е. той стадией капиталистического развития, которая нужна для междурайонного устно-языкового объединения нацтерритории (хотя бы и лишь в разрезе господствующего класса). Эта стадия была, например, достигнута Россией (русским населением) в XIX веке, Японией в конце XIX — в начале XX-го века (т. е. после перехода к европейско-американским формам производства и капиталистического развития), еще ранее она была достигнута многими капиталистическими странами Западной Европы, но для узбекского населения она была еще чрезвычайно далека, ибо даже и господствующие его группы не имели экономически-обусловленных постоянных потреб-

ностей в постоянном перекрестном междурайонном общении а потому отсутствовало и средство такого общения, т.е. устная „койнэ“¹.

Таким образом, третьей, — хотя и отрицательной, — но первостепенно-важной причиной наличного разнообразия узбекской диалектологии мы можем считать именно только что указанный относительно-низкий экономический уровень узбекского нацколлектива в предшествующие исторические эпохи.

Чтобы закончить краткий перечень причин этого диалектологического разнообразия, добавим сюда некоторые приходящие и специфические, именно для Узбекистана, условия, усугублявшие вышеуказанное диалектологическое разнообразие и его константность, т.е. живучесть местных диалектологических особенностей, их сопротивляемость нивеллировке и стандартизации:

1) Здесь можно назвать в первую очередь преимущественно натурально-хозяйственный быт узбекского кишлака в эпоху до русского завоевания (тогда как русское помещичье хозяйство не только с XIX, но и с конца XVIII уже века было в значительной мере товарным), крайнюю неподвижность масс узбекского кишлачного, да и городского населения (сплошь и рядом человек родился, жил и умирал, не видя ничего, кроме родного кишлака, — не только не видел города, но даже и соседнего кишлака; путешествия за сто, например, верст — например, из Чимкента в Ташкент — казались необычайно сложной и трудной вещью, на них решались не многие и один раз замного лет). Любопытные данные, подтверждающие эту малоподвижность узбекского населения, приводил Н а л и в к и н в своей книжке „Туземцы прежде и теперь“;

2) Узбекская (по языку) территория входила в состав не одного, а нескольких государственных организмов (эмирство бухарское, ханство кокандское и хивинское); та же картина политического разделения Узбекистана продолжала существовать, хотя и в модифицированном виде, и после русского завоевания;

¹ Совершенно иные причины, конечно, нужны и достаточны бывают (во всяком нацколлективе) для объединения на почве письменного языка, которое происходит гораздо раньше устной койнэизации, и обычно соответствует образованию государственного организма (являясь и следствием, и средством политической его централизации). Но в данном случае мы говорим именно об устной речи, а не о письменно-языковой традиции.

3) Отдельные районы узбекской территории, как например, Хорезм, были географически изолированы от других районов, что, следовательно, ставило крайне трудные преграды для экономического обмена и языковой междурайонной нивеллировки¹. Поэтому узбекские говоры Хорезма и обладают известным количеством своих специфических (хорезмских) слов и прочих языковых черт, противопоставляющих их узбекскому языку прочих районов — несмотря на то, что в Хорезме совмещаются два генетически различных наречия: 1) городские говоры южного Хорезма, в частности хивинский, янги ургенчский, ханкинский, хазараспский, янгарыкский, шаватский, газаватский и — на правом берегу Аму — шораханский, как и некоторые кишлачные говоры данных районов, принадлежат к огузскому наречию; а прочие узбекские говоры Хорезма — то-есть „средне-хорезмские“ йокающие говоры и „северно-хорезмские“ джокающие говоры — к „кыпчакскому“ наречию.

4) Случай метисации (уже не гибридизации, а метисации) — например, случай казакского влияния на северно-хорезмские (или джокающие) говоры, случай новоуйгурского влияния на говоры Чартагской „Умлаутной“ подгруппы в Наманганском и Нарынском районах и т. д.: имея место в одних говорах и отсутствуя, разумеется, в других, эти случаи метисации (т.е. случаи влияния других турецких языков) способствовали увеличению расхождений между говорами одного и того же наречия.

5) Наконец, здесь можно упомянуть и о различных степенях исламизации быта, в зависимости от чего оказываются и различные количества арабских и персидских слов, усвоенных теми или другими из узбекских говоров.

Разумеется, о каждой из этих причин и об их увязке с вышеупомянутыми факторами можно было бы много говорить отдельно, но здесь мы должны ограничиться именно лишь их перечнем.

¹ Напомню, что географические причины, сами по себе, не способны оказывать влияние на языковую историю (и значит, на язык вообще: они могут быть эффективными (в смысле влияния на языковые факты) лишь постольку, поскольку они участвуют в определенной экономической ситуации. — из которой вытекают и фактические потребности в определенном языковом общении (— междурайонном или, наоборот, внутрирайонном, и т. д.), а следовательно, и предпосылки для языкового развития. До известной степени сходное (но, конечно, со всеми необходимыми *mutatis mutandis*) замечание надлежит сделать и в отношении факторов политических.



Попробуем теперь дать слушателям приблизительные представления о том, какие именно типы (т.е. главные разновидности) узбекских говоров фактически имеют место в узбекском нацколлективе, сложившись под влиянием вышеназванных причин диалектологической дифференциации.

Начнем с наиболее древних турецких насельников Средней Азии — с „чагатайских“ узбеков, которым пришлось вынести на своих плечах всю тяжесть экономической борьбы с прежним иранским населением, вступить в гибридизацию с ним и выйти, в общем, несомненным победителем в этой борьбе двух языков и двух этнических элементов. Вполне понятно, в связи с этим, и то обстоятельство, что именно этим — чагатайским — узбекам оказались принадлежащими и важнейшие городские пункты, — во всяком случае большинство городских пунктов Узбекистана. Более поздним же пришельцам городские центры центрального Узбекистана уже не могли достаться: огузским узбекам достались лишь города на крайней периферии — в Хорезме, „кыпчакским“, как наиболее поздним пришельцам, выпали на долю лишь кишлачные территории как в центральном Узбекистане, так и в Хорезме [исключением являются лишь несколько более или менее маловажных городов (вернее „базаров“) главным образом среднего и северного Хорезма: Гөрлен и т. п., — их население тоже (подобно окружающему кишлачному населению) говорит на „кыпчакском“ наречии.]

Так, „чагатайское“ наречие мы находим в массе случаев в городах и кроме того во многих кишлачных районах.

Начну с городов и именно с тех городов, где иранизация языка носит максимальный характер.

Это — так называемый „максимально-иранизованный“ тип городской чагатайско-узбекской речи, или говоря географически — „самаркандско-бухарско-ходжентский тип“, или по принятой Поливановым терминологии „самаркандско-бухарская“ подгруппа узбекских говоров¹.

¹ Во «Введении» в мою «Граматику бухарско-еврейского языка» (как, с другой стороны, и в некоторых моих работах на немецком языке) я включаю самаркандско-бухарско-ходжентский тип узбекской речи в состав некоего «языкового союза», содержащего по крайней мере пять членов: 1) северное наречие таджикского языка, 2) туземно-еврейский, 3) туземно-цыганский, 4) эронийский, т.е. язык «ирани», точнее — «эрони» [егрп], в Самарканде и т. д., 5) вышеупомянутый «самаркандско-бухарско-ходжентский» тип узбекских говоров [что же касается *шестого* члена (— в виде остатков живой арабской речи в некоторых бухарских и кашка-дарь-

Сюда принадлежат, прежде всего, те города, которые и поныне являются двуязычными, т.е. в которых период коллективного двуязычия не закончился (т.е. таджикский язык не вытеснен еще) и по настоящее время. Разумеется, по этническому своему составу города эти являются таджикскими: таджикский элемент в них совершенно явно доминирует над узбекским. Таковы, например, Самарканд, Бухара, Ходжент, Ура-тубе (последние два — уже в Таджикской республике).

Население этих городов, — следовательно, таджикское¹, и масса женщин (например, в Самарканде) вовсе не знает узбекского языка. Но узбекские говоры этих городов (и узбекский-самаркандский, и узбекский-бухарский, и узбекский-ходжентский и т. д.) все-таки бесспорно существуют и существуют именно в качестве особых, качественно отличных единиц узбекской диалектологии.

Объясняется это существование узбекского языка в Самарканде и т. д., как и поголовное двуязычие местного (самаркандского, например) экономически-активного населения (взрослых мужчин) следующим экономическим фактом [имеется в виду, конечно, та прошлая эпоха, когда сложились данные языковые картины]: Самарканд (как и Бухара и т. д.) являлся «таджикским промышленно-товарообменным центром узбекского земледельческого района»; экономическим нервом Самарканда был именно товарообмен с соседними узбекскими кишлаками, а товарообмен этот требовал знания

инских кишлаках), а наконец и *седьмого* члена, данного «языкового союза», то о них будет говорить особо — в специальных работах, предназначенных к изданию в 1934 году] Понятие «языкового союза» (вполне отличное и независимое от понятия «семьи языков»: сравн. вхождение в вышеупомянутый «союз» языков двух — и даже трех — разных семейств) оказывается тем самым именно понятием, которым должна быть пополнена традиционная историческая (генеалогическая) классификация языков — для того, чтобы удовлетворить запросам современного социологического языкознания; это — понятие, которое, так сказать, „носится в воздухе“ современной лингвистической эпохи: сравн. работы Р. Якобсона (особенно «Etudes Phonologiques» I, «К характеристике евразийского языкового союза») и в качестве отправного пункта идеи Бодуэна де Куртене (смотри «О смешанном характере всех языков» в ЖМНП 1901), а с другой стороны, книгу W. Schmidt'a «Языковые семейства и языковые круги земли» [о ней смотри в только-что названной работе Р. Якобсона, стр. 13-14], взгляды Н. Марра на языковое смешение, и т. д. Необходимо, понятно, и членение понятия «языковой союз» на величины различных порядков: вышеупомянутый мною «языковой союз» принадлежит, например, к единицам низшего порядка по сравнению с «евразийским языковым союзом» Р. Якобсона (но, конечно, не входит в этот последний [евразийский] союз).

¹ Имеется в виду, конечно, абсолютное большинство населения.

узбекского языка — отсюда и вытекает коллективное двуязычие самаркандцев.

Разумеется, в качественном отношении эти говоры обнаруживают тахитим таджикского влияния: они не только не сингармонистичны (точнее: лишены лингвальносингармонистических чередований в живых суффиксах словообразования, суффиксах склонения, спряжения и т. д.), но и вполне повторяют таджикскую звуковую систему — в частности вокализм¹ из шести гласных *i, e, ə, a, o, u* (= *i, e* ультра-узкое, *ə*², *o*, о ультра-узкое, *u*) и имеют такие, например, консонантические³ особенности, как полное различие *p* и *pʰ*, заднеязычный носовой *ŋ* с призвуком *g* (точнее *ŋ^g* - | *ŋ^{gk}*). В области морфологии для них типично отсутствие местного падежа на *-də* | *tə* (он заменяется „дательным направи-тельным“ на *-gə*₃ | *-kə*₃, например, *mə*₃ *vixrəgə*₃ *jə*₃ *sə*₃ *jəmə*₃ | *tə*₃ *vixrəgə*₃ *jə*₃ *sə*₃ *jəmən*); в области словаря — значительно большее число таджикизмов, чем в других типах узбекских говоров.

Ниже я буду ограничиваться лишь упоминанием *фонетических* отличительных признаков разных типов, так как они поддаются наиболее краткой формулировке. Что же касается наиболее важного (и фонетического, и вместе с тем морфологического) признака — „отсутствие ~ наличие сингармонизма“, то по поводу него я должен буду оговорить мое определение понятий „сингармонизма“ и „сингармонистический ~ несингармонистический язык (или диалект)“.

Сингармонизмом я называю систему гласных, а отчасти и согласных, чередований в суффиксах, основанную на принципиальном делении данных звуков (гласных, а отчасти и согласных) по двум взаимно противоположающимся категориям и подразумевающую соответствующие же принципиальные деления основ на две категории (в частности, на „задние“ и „передние“ основы). Отсюда вытекает, что сингармонистическим языком (или диалектом) я буду называть такую языковую систему, в которой фактически имеются чередующиеся дублиеты суффиксов (суффиксов склонения, спряжения и т. д., а также и живых словообразовательных суффиксов), например — чередования в роде *-lar* | *-ləg*, *-nə* | *-ni*, *-ləq* | *-lik*, *-maq* | *-məq*, *-dap* | *-dəp* и т. п. А несингармонистическим языком (или диалектом) буду называть та-

¹ Вокализм (от латин. *Vocalis*) — система гласных звуков.

² Знаком „ə“ я обозначаю открытое „ə“, произносящееся в самаркандском (= таджик. „a“).

³ Консонантизм (от латин. *Consonans*) — система согласных звуков.

кую речевую систему, в которой эти (сингармонистические) дублиеты суффиксов отсутствуют, т. е. вместо них употребляется один и тот же, в отношении данных звуков, вид суффиксов (например, только *-ləg* — и в *itləg* „собаки“ и в *ətələg* „лошади“ и т. п., только *-ni* — например *-itni* и *ətni*, только *-lik* [например в *ətlik* и в *itlik*], только *-məq* [например *vəg-məq* и *vəg-məq*], только *-dəp* [например, в *vələdəp*, как и в *jədəp* и т. п.] и т. д. и т. д.), а соответственно этому вовсе отсутствует и принципиальное деление основ на две данные категории (— „задних“ и „передних“ основ). Добавлю, кстати, что за пределами турецких языков придется встретиться еще с одной категорией¹ (кроме „сингармонистических“ и „несингармонистических“ языков), именно с понятием „эмбрионально-сингармонистических“ языков, каковы, например, самоедские (кроме юракского), а с другой стороны аинский и т. д.² Но здесь, т. е. в настоящей работе

¹ Неговоря уже о членении (т. е. о подкатегориях) внутри категории сингармонистических языков, куда наконец должен быть отнесен, между прочим, и совершенно специфический вид сингармонизма в резыанском языке — единственном из индо-европейских языков, который имеет право называться сингармонистическим (хотя и с известными оговорками об особенностях этого — резыанского — сингармонизма: смотри докторскую диссертацию И. А. Бодуэна де Куртене, а также и у В. В. Радлова в главе о „Гармонии гласных“ в книге „Phonetik der nördlichen Türkssprachen“).

² К „эмбрионально-сингармонистическим“ языкам я позволю себе причислить и аинский язык — потому, что в нем тоже имеется, в известной мере, следующее явление, характерное для других „эмбрионально-сингармонистических“, а именно для большинства самоедских языков (о его наличии, наряду с фактами настоящего сингармонизма, в Суоми-финском — смотри у В. В. Радлова в „Phonetik der nördlichen Türkssprachen“, в главе о „Гармонии гласных“): суффикс, начинающийся с гортанного согласного *h* (т. е. с согласного, в физиологическую характеристику которого не входит никакого признака специфического гортанного уклада), полностью удваивает свой гласный исходному гласному основы. Аинский пример: суффикс *-ha* / *-he* / *-hi* / *-ho* / *-hu* (т. е. суффикс именного сказуемого — эквивалент узбекского литературного *-dɨg* / *-diɨg*, таджикского *-ast* и т. д.) произносится с той же гласной фонемой, которая предшествует этому суффиксу, т. е. стоит на конце основы. Таким образом, после основы, оканчивающейся на *a*, данный суффикс имеет форму *ha*, после основы на *e* он произносится в виде *he* и т. д. (в словаре аинского языка Добротворского этого суффикса приведен в самом начале буквы „Г“, как слово „2. Га“: оговорю, что транскрипция некоторых слов в примерах, приводимых Добротворским, не точна). Разумеется, если сингармонизмообразные явления исчерпываются (в данном языке) только подобным чередованием внутри суффиксов, начинающихся с *h*, то в таком языке не может быть речи о принципиальном (фонологическом) делении основ на „передние“ и „задние“: это деление в данных языках (например, в аинском) вполне отсутствует — точно так же, как его не существует и в русском, и в таджикском, а равным образом и в узбекских несингармонистических говорах (например, самаркандского или тахитимского типов и т. п.) и проч.

нам вовсе не придется иметь дела с этой (3й) категорией.

Итак, самаркандско-бухарская подгруппа — это крайняя ступень иранизации, максимально иранизованный тип узбекских („чагатайских“, разумеется) говоров.

Следующий (по порядку убывающих степеней иранизации) тип может быть иллюстрирован в качестве примера ташкентским говором. Сингармонизм здесь опять-таки отсутствует.

Число качественно различных гласных фонем то же, что и в самаркандско-бухарском (6 фонем), но в качественной их характеристике заметны уже отклонения от качества гласных таджикского языка, а именно в сторону типично-турецких (т.-е. узбекских доиранизационных) гласных звуков: назову здесь —

1) Наличие гласного э, но не эз, как в самаркандском (например, ташкентское шэп || самаркандское шэзп „я“): ташкентское э является более узким гласным, чем эз в самаркандском, которое совпадает с таджикским „а“ (сравн. таджикск. шап = шэзп „я“) и принадлежит к тому же типу „передних А“, что и русское ударенное а или французское а слова patte. Ташкентское же э совпадает в общем с э сингармонистических чагатайских говоров и принадлежит в общем к тому же типу гласных звуков, что и английский гласный в английском слове шап, иначе говоря — к типу промежуточному между эз (— „передним А“) и типом е („открытое Е“).

2) Значительную аберрацию вариантов фонем і (— i mutavile) и о в зависимости от комбинаторных условий (например, в словах qir~kir~pişkəp~keldi, qul~kul, qol~kol) в чем, с историко-фонетической точки зрения, можно видеть отражения (хотя и совершенно преломленные в фонологическом отношении) старого противоположения парных фонем і~ь, у~и, ө~о.

3) Из консонантизма можно, например, указать на смешение р и f (которые в самаркандском узбекском различаются так же, как и в таджикском языке).¹

¹ О причинах относящихся сюда признаков ташкентского вокализма (в которых можно, следовательно, видеть наследие старого сингармонистического узбекского вокализма) подробно говорится в печатающейся в настоящее время „Грамматике узбекского языка“ Поливанова, в главе „Вокализм ташкентского говора“. Материалом сравнения, т.-е. примерами турецких языков, respective диалектов с десингармонизационнообразными процессами могут, в частности, служить: 1°. язык «ирани» (или «эро-

Итак, в ташкентском (и ему подобных говорах) мы хотя и встречаем сколок с таджикской звуковой системы, но в отличие от самаркандско-узбекского здесь проглядывают и некоторые черты, являющиеся наследием типично-турецкой фонетики. Смещение турецкого и иранского элементов, в истории ташкентского и т. п. говоров, происходило, следовательно, уже далеко не так, как в Самарканде, — при совершенно ином процентном соотношении смешивающихся

ни»—егэп), т. е. узбекизированный азербайджанский язык — в Самарканде (в Багишамале и прилегающем кишлаке Панджоб) и т. п., — столь же (на тех же совершенно правах) не-сингармонистический, как и самаркандско-узбекский; 2°. татарский касимовский диалект (смещение к и q — как и всех других заднеязычных, в большинстве позиций — в звуке², т.-е. в гортанном смычком; правда, мою мотивир вку этого явления (татарск. k q g q x ç → касимовск. ²) гибридацией я лишен возможности здесь изложить, так как на это потребовался бы экскурс в несколько страни); 3°. средне крымские говоры и в pendant к ним караимский язык — в частности северо-западных караимов (сравн. Т. Kowalski. Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków 1929; сравнить также R. Jakobson. Etudes Phonologiques I, 1931 — К характеристике евразийского языкового союза, стр. 32: «Этот тюркский язык пределал любопытную эволюцию — от мягкостной корреляции слогов (а это и есть «сингармонизм и гласных и согласных», если перевести термины Р. Я. на употребляемую мною терминологию. Е. П.) к самостоятельной мягкостной корреляции согласных. Возникновение каримской мягкостной корреляции — очень близкая параллель к русско-польской фоно-огической эволюции; 4°. боснийский диалект турецкого в узком смысле — так называемого «османского» — языка (опять-таки со смешением к и q), о чем упоминает, между прочим, и В. В. Радлов в «Phonetik der nördlichen Türkssprachen»; напомним, что боснийский диалект — это турецкая речь в устах славянского (по своему прежнему, т.-е. предшествовавшему языку) населения. Перечень подобных примеров можно было бы и продолжить, но я здесь остановлюсь, ибо во всех прочих (неприведенных) примерах не нахожу противоречий делаемому мною выводу (о том, что десингармонизационные или десингармонизационнообразные явления — продукт гибридазации). Конечно, эта ссылка на ряд турецких языков и диалектов (т.-е. установление причинной зависимости между гибридазацией и десингармонизационной тенденцией в общетурецком масштабе — в масштабе всей территории турецких языков) — убедительна в особенности именно потому, что в каждом отдельном случае, конкретные факты, в которых проявляется десингармонизационная тенденция, получают объяснение из специфических особенностей данной гибридазации, т.-е. из картины влиявшего в данном случае (не турецкого) языка (иначе говоря, причинная связь устанавливается и по логическому методу «сопутствующих изменений»). Так, например, боснийское смешение к и q, объясняется за счет славянского консонантизма — ибо в данном случае — в Боснии — турецкая языковая система вступила в гибридазацию именно со славянской системой, и наоборот, в узбекском и эронийском, например, случаях, этого результата гибридазации (в виде смешения, или конвергенции к и q, разумеется, и быть не может, ибо в таджикском языке (с которым в данном случае происходила гибридазация) в свою очередь существовало различие к и q; зато здесь, т.-е. на узбекском, а через по-

элементов: турецкий (узбекский) элемент представлен здесь был в более широкой мере, и потому оставил после себя следы в фонетической системе современного говора.

Затрагивая эту тему — о гибридационном происхождении ташкентского и т. п. говоров, необходимо, однако, задать себе для осторожности поверочный вопрос: может быть

средство иранизованного узбекского и на эронийском, — сказались другие черты не турецкого (в данном случае — таджикского) элемента гибридализации (т. е. таджикского языка): например, отсутствие парных по языковому укладу фонем *i* — *ь*, *y* — *и*, *o* — *o*. [Заметим, что в таджикском языке основным, или „ведущим“ моментом корреляции гласных является момент губной работы, т. е. признак „нелабиализованный — лабиализованный (гласный)“, но не момент „переднего — заднего“ уклада языка]. Это сличение причин (— в виде различных гибридализаций) и следствий (— в виде различных обнаружений десингармонизационной тенденции) мы можем продолжить и на случаи отрицательных (в смысле отсутствия данного следствия) примеров, т. е. таких примеров, где (несмотря на наличие гибридализации) в полноте сохраняется картина сингармонистических явлений (имею в виду и приводящие признаки, типичные для сингармонистического турецкого языка: наличие (т. е. сохранение) парных гласных *i* — *ь*, *y* — *и*, *o* — *o* и т. д., сингармонистические варианты согласных и проч.). Так, якутский язык, несмотря на несомненную гибридализацию турецкого и монгольского элементов, является одним из максимально-сингармонистических турецких языков (другой случай такого максимально-сингармонистического языка — киргизский) и в этом нет для нас, конечно, ничего странного, т. е. нет ничего противоречащего вышевысказанному положению о том, что причиной десингармонизационной тенденции можно считать случаи гибридализации, ибо высказывая это положение, мы, конечно, разумеем гибридализацию с несингармонистическим языком (например, со славянскими, с иранскими и т. п.). Монгольский же сам является сингармонистическим языком. Само собою разумеется, что здесь я не могу полностью изложить относящиеся к данному доказательству факты и мотивировки. Я хотел только дать о них общее представление в методологическом отношении. **Примечание.** Упомянув о монголо-турецкой гибридализации в якутском, нельзя забывать, конечно, что в формировании якутского языка участвовал и некий третий — нам неизвестный языковый элемент (о котором говорил В. В. Радлов, на основании своего анализа якутского словаря). Возможно, что придется, в конце-концов, говорить не об элементе, а об элементах, т. е. допускать несколько гибридализаций с разными, по происхождению, языками. Между прочим в якутском языке есть слова (из не находящихся себе параллелей в других турецких), которые оказываются общими и японскому (точно также, как в японском есть отдельные единичные слова, общие с чукотско-коряцко-ительменской группой). Но поскольку нам неизвестен язык (или языки), с которым происходила данная гибридализация, а значит неизвестна и его фонология, — мы вынуждены вовсе исключить этот вопрос из замеченного выше анализа турецких языков. Во всяком случае, ничего „десингармонизационнообразного“, что мы могли бы, с той или иной степенью вероятности, приписать влиянию этого неизвестного языка, в якутском я найти не могу (некоторые второстепенные мелочи, которые допустимо было бы при желании трактовать, как процессы десингармонизационного направления, удастся, по моему мнению, разъяснить, как результат монгольского влияния).

возможно было бы — вместо нашего объяснения гибридализацией объяснять ташкентскую фонетическую систему из одного лишь турецкого элемента, без допущения гибридализации с таджикским?

Оговорю прежде всего, что в чисто-историческом отношении допущение иранской подпочвы для ташкентского (и для других, до известной степени аналогичных в языковом отношении, пунктов — например, Джизак и т. д.) района представляется вполне естественной рабочей гипотезой, которой трудно противопоставить более или менее серьезные возражения.

Но условимся взглянуть на дело с лингвистической лишь точки зрения и, следовательно, спросить себя: может ли метаморфоза, столь аналогичная, в общем, самаркандской и т. п., метаморфоза, состоявшая прежде всего в ликвидации сингармонизма, быть объяснена на почве одного лишь турецкого языкового элемента без гибридализации? Решающим, т. е. достаточным критерием могут быть показания других турецких языков (или диалектов): имеется ли из них хоть один, в котором наблюдалась бы десингармонизация (или вообще сходные по своему направлению с десингармонизацией процессы) без явного, не оставляющего о себе сомнений и сильно выраженного участия гибридализации? Но из примеров всевозможных других турецких языков видно, что где только встречаются более или менее сходные явления, мы всюду сталкиваемся именно с гибридализацией. Очевидно, что сингармонизм — это настолько типичная черта турецких языков, настолько глубоко вросшая в них и сросшаяся с их морфологией, словарем и т. д., что лишиться сингармонизма турецкий язык мог только при исключительных условиях, под сильным давлением чужих — нетурецких и не знающих сингармонизма языковых навыков.

В каких условиях, скажите мне, всадник, выехавший в путь в седле, т. е. на оседланной лошади, придет к конечной цели своего пути без седла? Один из наиболее естественных ответов может быть таким: „Этот всадник привык ездить без седла, и потому, чтобы создать привычные условия езды, он перерезал подпругу и выбросил седло, как ненужную, т. е. непривычную для него вещь“. Эту грубую аналогию я позволю себе применить и к истории иранизованных узбекских говоров. Всадник, отправляющийся в путь — это коллектив с таджикскими языковыми навыками, не ведающий сингармонизма. Путь, в который он отправился, это — история узбекской (турецкой) речи в устах этого таджик-

ского или смешанного с таджикским элементом коллектива. Седло — это сингармонизм, служащий привычной основой для типично-турецких (не сильно гибридных) языков.¹

И вот, непривычный к этой основе (— к этому „седлу“ турецкой речи) таджикский или таджикизованный коллектив освобождается от этого „седла“ именно в силу непривычности к нему.

Если тождественные (в основных чертах) — т.е. сводящиеся к утрате картины сингармонизма (вместе с утратой и второстепенных признаков, типичных для сингармонистической языковой системы) результаты мы имеем в самаркандском, бухарском и т. п. узбекских говорах, где участие таджикского языкового мышления, благодаря социальному двуязычию данных коллективов и вполне ясному генезису каждого отдельного новшества (в самаркандско-узбекском, бухарско-узбекском, ходжентско-узбекском и т. п.), с несомненностью может быть признано причиной данных результатов (новшеств), то ту же причину — именно влияние таджикского элемента позволительно допускать и для истории говоров ташкентского типа. Правда, определенные отличия в составе самаркандской и ташкентской фонетических систем, как мы уже говорили, имеются, но их-то и удается исчерпывающе объяснить тем — вполне законным, разумеется — допущением, что соотношение узбекского и таджикского элементов было различным в обоих данных типах говоров (т.е. „самаркандско-бухарско-ходжентском“ типе, с одной стороны, и ташкентском — с другой).

Таков, в грубых чертах, итог нашего объяснения генезиса ташкентского типа — объяснения, которое, конечно, невозможно снабдить здесь всеми нужными доказательствами (это потребовало бы специальной фонетической работы в 3—4 листа).² Моей же целью было здесь лишь дать общее представление об этой гипотезе.

¹ Я говорю здесь: „не сильно гибридных“ вместо ожидаемого „негибридных“, так как фактически мы вовсе не встречаем языков, про которые можно было бы сказать, что они вовсе не гибридованы (или по крайней мере не метисованы): сравн. у Бодуэна де Куртене в работе „О смешанном характере всех языков“. Ж. М. Н. П. 1901. Та же мысль повторяется и у Н. Я. Марра.

² В свою очередь эта причина — т.е. языковая гибридизация в Самарканде и т. п. — есть не что иное, как проекция (в плоскость языковых явлений) экономического симбиоза таджикского населения Самарканды и т. п. с узбекским населением данного района: сравн. мое определение Самарканды, как таджикского промышленно-товарообменного центра узбекского земледельческого района, чем и объясняется неизбежное, диктуемое борьбой за существование „социальное двуязычие“ основного населения

Переходим к следующим четырем типам узбекской „чагатайской“ речи — именно к третьему, четвертому, 4-А и пятому, которые входят в состав так называемой „ферганской переходной“ группы чагатайского наречия; „ферганской“ я называю потому, что все эти 4 типа представлены на территории Ферганы, а „переходной“ — потому, что они представляют целый ряд или гамму последовательного уменьшения признаков иранского влияния, занимая тем самым промежуточное место между ташкентским типом — с одной стороны, и наиболее чуждым иранизации „северно-узбекским“ шестым и седьмым типами „чагатайских“ говоров — с другой стороны².

Три из этих переходных ферганских типов являются не-сингармонистическими, а последний из них, пятый по общему перечню — сингармонистическим, но содержащим все-таки известные побочные признаки, сближающие его с не-сингармонистическими, — главным образом признак „оканья“, или — точнее — признак „э́та“ (вместо ата || несингармонистич. э́та „отец“), иначе говоря — наличие (сходного с таджикским. о) звука *ɔ* на месте *а первых слогов: э́та ← *ата, во́ла ← *ва́ла

Названия, условно данные мною этим четырем типам ферганских говоров, — следующие:

Самарканда — по крайней мере, в лице экономически-активной его части, (т.е. главным образом, в лице взрослого мужского населения, кроме того, связанные с Самаркандом вопросы подробнее разобраны в моей работе „Элементарный пример разъяснения морфологической системы факторами экономического порядка“.

¹ Напомню, что термины „чагатайское“, „кыпчакское“, „огузское“ наречия узбекского языка (термины, не мною созданные и употребляемые мною только потому, что их употребляют другие — здесь, в Ташкенте) являются для меня вполне условными — на подобие, например, номеров: „наречие № 1, № 2, № 3“. Особенно это нужно подчеркнуть в отношении термина „чагатайское наречие“, который отнюдь не связывается с каким-либо хронологическим моментом и не имеет отношения к понятию чагатайского литературного языка. Это — просто юго-восточно-турская (по генезису) часть узбекского языка.

² Ходжентский узбекский говор, несмотря на его территориальное соседство с „ферганскими“ (хотя вот уже пять лет, как Ходжент входит в Таджикскую республику), принадлежит к максимально иранизованному — 1-му, или самаркандско-бухарско-ходжентскому типу; этого мы, конечно, и должны были бы ожидать на основании факта социального двуязычия (при основном таджикском населении — как и в Самарканде, в Бухаре). Таким образом ходжентско-узбекский не принадлежит в языковом отношении к „ферганским“ говорам, что гармонирует, между прочим, и с фактом политического районирования: с присоединением Ходжента к Таджикской республике (которое я считаю вполне обоснованным, т.е. правильным во всех отношениях, в том числе и в языковом).

1; Третий (по общему перечню) тип: маргелано-кокандский тип, характерный для большинства городских говоров Ферганы (кроме Андижана, Шерхона—Шахрихана и т. п. (см. ниже следующий тип), а с другой стороны и для ряда кишлачных (особенно в крупных кишлаках) говоров (гл. обр. в маргеланском р-не, и проч.).

2. Четвертый (по общему перечню) тип: андижано-шерхонский (= шахриханский) — из обследованных мною городов — в Андижане и Шерхоне (= Шахрихане) и в значительной части кишлачных говоров.

3. 4-А тип: чартагский, или „умлаутный“, или новоуйгуризованный¹ тип, представленный известным числом кишлачных говоров намаганского и нарынского районов [примеры: говор к-ка Ойчи в нарынском р-не, говор к-ка Шахтант в намаганском р-не].

Эти три типа — несингармонистические.

4. И, наконец, пятый (по общему перечню) кишлачный сингармонистический тип (ферганских „чагатайских“ говоров). Примером может служить говор к-ка Сорай (или Сарай, — [sɔraɪ]) в 17 приблизительно километрах от Андижана (или же, напр., ряд кишлачных говоров в Кокандском районе: Юл-Гузар, Ганджираван, Катаган и др.).

В отличие от самаркандско-бухарского, а отчасти и в отличие от ташкентского типов звук ц (носовой-заднеязычный) всех этих 4 типов уже не имеет призвук Г, т. е. является чистым ц (носовым с начала до самого своего конца), типичным для типично-турецких языков.

В области же вокализма мы наблюдаем в вышеуказанных четырех „ферганских“ (— 3, 4, 4 А, 5) типах ряд последовательных сдвигов:

1. в маргелано-кокандском уже не 6, а 7 качественно отличных гласных фонем: добавлена фонема а (заднее а), являющаяся, очевидно, непосредственной консервацией из турецкой системы вокализма; употребляется она относительно редко (по сравнению с э и ә) — главным образом в последнем слоге (— основы и слова) в соседстве с q q̄, напр., tɔvaq, əxɫaɫ, ʃumɫaɫ/ʃumɫaɫq̄aɫ и т. п. Отметим, что позиция рядом с q / q̄ в свою очередь характерна для турецкой (а не таджикской) системы: q и q̄ характерны именно для

¹ Подразумевается гипотеза (более чем вероятная) о влиянии новоуйгурского, т. е. современного „уйгурского“, или таранчино-кашгарского языка, — влияния, которому, можно приписать, в частности, появление Umlaut'a э/ә в таких случаях как ot/әti „лошадь / его лошадь“ qɔl/qɔlɪp „останься / оставишься“ и т. п., см. ниже.

турецкого словаря, в таджикском они, наоборот, относительно редки (сравни с частотой k и g); таким образом, „типично-турецкий“ гласный а уцелевает здесь, главным образом, именно в типично-турецкой позиции.

2. В андижанско-шерхонском типе близость к старому т. е. типично-турецкому, вокализму еще больше, и уже на значительный шаг (т. е. сдвиг в сторону сингармонистического состава вокализма является явным): здесь уцелевает фонема ø (полуузкий передний лабиализованный гласный = „mid-front-ound“ по английской фонетической терминологии), т. е. продолжается различение парных фонем ø и o. А поскольку эта пара, т. е. пара полуузких фонем, различается, постольку воссоздано было и вторичное различение соответствующих — т. е. опять-таки лабиализованных — узких (— „high“) фонем: у [точнее ü в МФА] и u, хотя и не на прежних местах (т. е. не в тех словах, где некогда различались старые *у и *и). Число гласных фонем здесь, следовательно, уже не 7, а 9.

3. 4-А тип — чартагский, или „умлаутный“, тип выделяется из андижано-шерхонского типа по наличию одной замечательной черты, в которой можно подозревать прямое влияние нового уйгурского, т. е. таранчино-кашгарского языка. Черта эта — умлаутное чередование звуков э/ә (оба звука на месте старого *и), причем ә заменяет собою э (и, следовательно, старое *и) тогда, когда в следующем слоге (и при том лишь через один согласный звук) имеется

¹ Напр., *us „3“ и uc „лети!“ совпали (и в Андижане, и в Шерхоне) в комплексе йс. Так в большинстве словарных случаев *и отражается (как, разумеется, и *у) в гласном ü. Но в единичных словах: напр., и, vi (он, этот мы имеем заднюю фонему и. То же и в андижанских основах ил мука, виг взять (вести) под уздцы, хотя в шерхонском, наоборот, и в этих двух основах *и → ü, то-есть üп, вüг. Поэтому в андижанском словосочетании и-пи ип-1 ego мука оба слова [1] и-пи — Родительный-Винительный от и он, 2) ип-1 — форма с притяжательным суффиксом 3 л. — 1 от основы ип мука] являются гомонимами, т. е. однозвучными словами. В Шерхонском же они, наоборот, различаются: ипи ипи = и-пи ип-1. Конечно, подобное (вполне неожиданное для ортодоксального компаративиста, опрокидывающее веру в „звуковые законы“ — Lautgesetze) вторичное различение и и ü оказалось возможным именно благодаря сохранению (уже не вторичности!) пары полуузких ø и o. Надо помнить к тому же, что именно в данном типе (как и в 4-А) мы имеем случай максимального влияния турецкого элемента гибридации на лишившийся, все-таки, сингармонизма говор. [Примечание к примечанию. Как мне передают, один из моих рецензентов ставил мне в вину именно веру в „языковые законы“, которых не признает (или к которым критически относится) даже ряд западных или буржуазных лингвистов, в том числе О. Jespersen. С О. Jespersen'ом я вполне разделяю его критическое отношение к Lautgesetz'y (см. „Grund-

или имелся *ɪ* (из старого *ʊ*): напр., *ɔt/ətɪ*, *vɔr / vɔrɪ*, *qɔl / qɔɪ*, *ɪp*, а также и в *vɔrwətɪmɐn vɔrwətɪsɐn qɔlwətɪmɐn qɔlwətɪsɐn* (формы *Progressiv'a* из кишлака Ойчи Нарынского р-на; — из **vag-ɪv jat-ɪr-mɐn*, **vag-ɪr jat-ɪr-sɐn*, **qal-ɪv jat-ɪr-mɐn* и т. д.). Иначе говоря, в этом (хотя и несингармонистическом в настоящее время) типе можно видеть продукт метисации, именно: смешения узбекского „чагатайского“ с таранчинско-кашгарским, т. е. с новоуйгурским языком. [Добавим, что кроме фактического чередования *ɔ/ə* за счет той же причины, т. е. влияния *ɪ* (respective ново уйгурского *ɪ*) следующего слога, может быть отнесено наличие *ə* (|| кашг. *ə*) в первом слоге двухсложных основ, напр. *ɛjɪq* || кашг. *ɛjɪq* ← **ajɪq* ← **ajɪq* „медведь“ и т. д.¹].

4. Наконец, в 5-м — кишлачном сингармонистическом типе (внутри, разумеется, чагатайских говоров Ферганы: во многих кишлаках Кокандского, Андижанского, Нарынского и др. районов) мы видим наиболее чистое (из данных 4 типов) сохранение типично турецкого фон. строя и сингармонизма. Сохранены все 9 фонем сингармонистического вокализма (узкие *i y / ɨ ɯ*, полуузкие *e ø / o*, широкие *a/ə*) и лишь в качестве единственного иранизационного (т. е. по своему исходному этапу — таджикского) признака введена (очевидно через посредство городских узб. говоров Ферганы) десятая фонема *ɔ* (физически такая же, как в 3-м, 4-м, 4-А типах, но уже с принципиально иной функциональной нагруз-

fragen der Phonetik“ и др. его работы), как соглашаюсь с ним и по ряду других вопросов (напр., в оценке утилитарной значимости аналитического, respective синтетического морфостроя: см. „The progress in the language“). Думаю, что в моей теории фонетической эволюции „звуковой закон“ вполне заменен насквозь имманентной целью причинных связей, идущей от экономической причины до языкового факта. Но беда в том, что мой рецензент спутал две совершенно различные вещи: 1) обще-лингвистический вопрос о существовании или несуществовании „звуковых законов“, как особых факторов, которым подчинена фонетическая эволюция, и которые, в силу этого, обладают в принципе безисключительностью, 2) вопрос, которого я только и касался в моей книжке, „За марксистское языковедение“, — историко-лингвистический, точнее относящийся к методологии исторического языковедения, — вопрос о доказуемости этимологий на основании регулярности звукосоответствий (ведь в том, что в известных пределах регулярность эта, как бы она ни мотивировалась, существует, сомнений не возникает). Не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, скажу образно (и без особого преувеличения): разница здесь между двумя понятиями, которые спутал мой оппонент, такова же, как например, между астрономией и гастрономией.

¹ Правда, в части примеров *ə* (в 4-А типе) могло бы появиться, может быть, и без действия Umlaut'a, но регулярность этого *ə* ← **a*сь не позволяет игнорировать здесь фактор Umlaut'a.

кой)¹. Вполне естественно было бы объяснить последовательное уменьшение иранизационных признаков (в данных 4 типах) последовательным — от одного типа к другому — усилением турецкого элемента гибридизации. Но это не надо понимать узко буквально: в том смысле, что в каждом пункте фактически сталкивались таджикоязычные таджики с узбеками. Дело могло идти (и шло, очевидно) иначе: в иных пунктах смешивались не таджикский и узбекский языки, а иранизованный и неиранизованный говоры узбекского языка (причем в значительном ряде случаев, — если не в большинстве случаев, — эта метисация могла происходить в форме внутривоспоемного влияния на кишлачные говоры со стороны соседней городской речи иного типа).

¹ В несингармонистических говорах Ферганы (3, 4 и 4-А типов) фонема *ɔ* является вполне нормальной гласной фонемой в функциональном и статистическом отношениях [несмотря на то, что в типах 3-м и 4-м она служит почти исключительно для семасиологизации, а не для морфологизации; в типе 4-А она, наоборот, кроме семасиологизации, бывает также и морфологизована в чередовании *ɔ/ə* — *ɔt/ətɪ* и т. д.]: она возможна, в данных трех типах говоров, в любом по счету слоге слова. Фонема *a*, наоборот, оказывается ненормальной, или дефективной в функциональном отношении (в данных трех типах), так как встречается относительно редко и главным образом в последних слогах основы и слова; сравн. маргеланск. и т. п. *juŋʒaq / juŋʒaqɪq* и т. п. В сингармонистическом же 5-м типе (чагатайских говоров Ферганы) дело обстоит совершенно иначе: фонемы *ɔ* и *a* как бы поменялись здесь (по сравнению с 3, 4, 4-А типами) функциональной своей характеристикой. Так фонема *a* (в 5-м типе, например, в говоре к-ка *Сорай* Андижанского р-на) является вполне нормальной — в функциональном и статистическом отношениях — фонемой, встречающейся в любом по счету слоге кроме, разве лишь, первого слога [где она встречается, но редко] и, участвуя, между прочим, в суффиксальном сингармонистическом чередовании *a/ə* (например, *ɔtɪq / itɪq*, *vɔɪqɐn / vɛɪqɐn*); фонема *ɔ*, наоборот, принадлежит лишь первым слогам (заменяя собою **a* первого слога в большинстве слов), и значит, в суффиксах не встречается и не морфологизуется; с другой стороны, и семасиологически-дифференциационные функции этой фонемы (в первых слогах) не могут считаться особо существенными — именно в виду того, что в большинстве основ **a* первого слога превратилось в данный звук *ɔ* (хотя нельзя отрицать, что в единичных случаях словоразличение может лежать именно на гласных *ɔ* и *a*: сравни *qɔɪɪ* = *qɔɪ-ɪ* — *его кровь* и *qɔɪɪ* — *где?*; таким образом гласный *ɔ* скорее может рассматриваться (с точки зрения функциональной его характеристики) как типичная принадлежность первых слогов (сравни *ɔt*, *vɔz*, *ɔta*, *vɔla*, *qɔga*, *vɔjɪq*, *ɔɪmɐn*, *qɔlɔqɪnɪɪqɔ*), т. е. в известной мере, как позиционный признак начала слова (а следовательно, и фонетической единицы отдельного слова, как целой величины): сравн., например, чередование *ɔ/a* в таких случаях, как *vɔla / ɔta-vɔla*, *ɔta-vɔla-lɪq* — *Compositum отцы и дети* [сравни. тоже в „окающих“ кыпчакских: казак-найманск. *qɔzɪq-pajɪmɐn* ∞ *pajɪmɐn*, фергано-каракалпакск. *qɔga-qalɪq* (или *qɔɪɪɪq*) ∞ *qɔɪɪɪq*] и т. п.

И вот, при этих допущениях, мы и можем согласиться на применение к данным фергано-чагатайским типам [расположенным именно в данном порядке: 3-й тип, 4-й или 4-А типы, 5-й тип] следующей формулы: „последовательное ослабление, или удаление, таджикского влияния и — параллельно этому — последовательное усиление, наоборот, турецкого элемента в данной языковой гибридации“.

Остается упомянуть, что 6-й и 7-й, т.е. северно-узбекские типы чагатайского наречия являются, в вышеуказанном смысле, наиболее „чисто-турецкими“, т.е. не обнаруживают в своей фон. системе более или менее явных следов таджикской системы¹. Типы 6-й и 7-й представлены, как и следовало ожидать, в наибольшем территориальном удалении от таджикских районов: главным образом на крайнем севере узбекской территории. Примерами 6-го типа могут служить, например, говоры городов Туркестан и Чимкент („туркестанско-чимкентский тип“), лежащих уже за пределами Узбекской ССРеспублики — в пределах Казакстана. Однако к этому же типу могут быть отнесены и говоры в некоторых других районах, например, некоторые кишлачные говоры (из числа чагатайских, разумеется) Ахангаронской долины, хотя бы, например, говор к-ка Кара(хы)-тай. Таким образом 6-й тип характерен, прежде всего, для городской речи северно-узбекского района и отличается от 7-го относительным отсутствием метисации с огузским наречием, в частности отсутствием (утратой) древнего различия долгих ∞ кратких гласных: напр., *at лошадь² и *a: d имя, *vag иди и *va: g есть, имеется являются в 6-м типе гомонимами.

К 7-му типу (на котором я и позволю себе закончить обзор чагатайских типов), представляющему собой кишлачную варьацию 6-го (городского) типа — принадлежат кишлачные северо-узбекские чагатайские (сингармонистические, разумеется) говоры, которые подвергались известному влиянию северно-узбекской огузской речи; таковы говоры очень

¹ Конечно, этим я вовсе не хочу сказать, что будто в данных говорах (6-й и 7-й типы) вовсе отсутствуют факты, внесенные влиянием персидского языка — в частности в области словаря, суффиксов словосложения и проч.; в известной мере подобное персидское влияние может быть констатировано во всех мусульманских языках (в том числе даже и в „слабоисламизованных“, например, казакском).

Таким образом наименование „неиранизованные“, или „негибридизованные“, может быть приложено к данным говорам лишь условно: в смысле относительной бедности иранизмами и именно в области фонетики.

² Сравни монгольск. *adasun*, бурятск. *adahun*.

многих кишлаков Туркестанского и Чимкентского районов. Примером может служить, хотя бы, говор к-ка Манкент (тэцкэ́т в местном произношении) б. Чимкентского уезда (у ж. д. станции Манкент). Характерной чертой этого кишлачного северно-узбекского (чагатайского) типа, отличающей его от 6-го (городского) типа, оказывается сохранение — очевидно, в связи с огузской метисацией — древних долгих гласных (напр., в a:t имя, va:g есть, имеется, ja:z лето, o:t огонь, tu:t туповое дерево и т. п. в отличие от at лошадь, vag иди, jaz || в манкентском jəz [a → ə под влиянием j] пиши, tut держи и т. д.).

V

Перехожу ко второму из узбекских наречий — к огузскому, которое, повидимому, принесено на средне-азиатскую территорию вторым по времени миграционным потоком турецких племен (первыми же из пришедших в Среднюю Азию тур. племен были носители чагатайского наречия, о котором мы говорили в предыдущей главе).

К какому именно веку относится миграция огузских турок — это вопрос исторический, точное решение которого для нас здесь не представляется особо важным; ограничусь поэтому предположительным указанием (заимствуемым от В. В. Бартольда, т.е. из исторических данных), что приход этих огузских узбеков, вместе с ближайше родственными им по языку предками нынешних туркмен, имел место в VIII или в смежных с ним столетиях.

Первоначально волна огузской миграции, т.е. турецкие огузские (принадлежавшие в юго-западной группе турецких языков) племена, являвшиеся языковыми предками и огузских узбеков, и туркмен, поселились в северной части узбекской территории, т.е. в нынешнем южном Казакстане, в частности в районе гор. Отрара, в нынешнем Туркестанском и ближайших к нему районах.

Затем основная масса этих огузских турок двинулась на юг и югозапад. Отсюда и произошли нынешние туркмены (на их современной территории в Туркменистане и Хорезме), а с другой стороны и огузские узбеки южного Хорезма: хивинцы и т. д.

Но известная часть этих огузских турок осталась в северно-узбекском, в частности в туркестанско-чимкентском районе, и их языковых потомков мы находим в нескольких единичных северно-узбекских кишлаках: именно 1) в Ика-

не (i:qan по местному произношению) Туркестанского района, 2) в к. Кара-Булаке Чимкентского района (в 12 кил. от Манкента), а также, с другой стороны, повидимому, и 3) в к. Багдан, около Джизака (багданский говор, я не наблюдал лично, а знаком с ним лишь по докладу и статье Бегджан Рахманова).

Замечу кстати, что этим, крайне немногочисленным, северно-узбекским (огузским) говорам весьма повезло в лингвистически-литературном отношении: каждому из них посвящено по особой (хотя и небольшой) диалектологической работе: карабулакский говор описан К. К. Юдахиним в „Сборнике в честь Бартольда“, краткая иллюстрация иканского говора дана Поливановым в Известиях Академии Наук¹ и, наконец, багданскому посвящена статья Бегиджан Рахманова в журнале „Maangı vә Oqıtıus“ на узбекском языке.

Очевидно в предшествующие исторические эпохи состав этой северно-узбекской огузской (или, по другой терминологии „северно-узбекской туркменизованной“ (группы был гораздо более значительным. В целом ряде пунктов, очевидно, эта огузская речь была вытеснена чагатайской, в результате чего и получился 7-й (кишлячный северно-узбекский чагатайский) тип, обладающий, в связи с только-что указанной метисацией и борьбой двух наречий, известными огузизмами (к которым я причисляю и различие старых долгих гласных от кратких). Тем более понятно, что в тех случаях, где огузские говоры все-таки уцелевали — именно, напр., в лице иканско-карабулакского², — они подверглись более сильному влиянию окружающих чагатайских говоров³,

¹ Добавлю здесь, что в типичной для иканского говора системе языкового мышления (без индивидуального смещения с казакским) устанавливается 17 гласных фонем (i u ь n, e o o, e a / i: u: n; e: o: o; : a:), т. е. вокализм без фонемы ы: (ы долгого). Таким образом ы является нейтральным гласным и фигурирует и в задних словах: например, qı:z — дочь, vardi: dьt и т. д. и т. д. Иначе говоря, состав вокализма тот же (те же 17 фонем), что и в карабулакском говоре и в южно-хорезмском диалекте.

² Мы можем говорить об одном иканско-карабулакском диалекте, так как разница между обоими данными говорами ничтожна. Генетически карабулакский восходит к иканскому, так как к. Карабулак создан именно выходцами из Икана (i:qan'ами) вместе с переселенцами из других районов, именно «отрарлык'ами» из Отрара.

³ Конечно, мы даем здесь лишь массовую оценку, устанавливая, что из того количества „огузских“ черт в иканско-карабулакском утрачено большее число отдельных черт (или признаков), чем в южно-хорезмском. Но это отнюдь не говорит против того, что некоторые отдельные черты (характерные для огузского наречия в его древней форме и для юго-за-

чем вторая ветвь огузского наречия — южно-хорезмская, о которой см. ниже (так, напр., в иканско-карабулакском в большинстве случаев начальные dg [из *t *k] заменены уже глухими t k, например, иканско-карабулакское kal = [kɛl] || южно-хорезмское gal = [g'ɛl] || чагат.-узб. и кыпчакско-узб. kel „приди“; ⁴ добавлены конечные q k, которые в южно-хорезмском (подобно кыпчакскому наречию) отсутствуют после узких гласных: напр., иканско-карабулакское tı:rik || южно-хорезмск. di:ri || кыпчакско-узб. tiri = t'iri || чагат.-узб. tirik = t'irik или t'irk „живой“, и равным образом sa:ɣq || sa:ɣ || sa:ɣ или в „окающей“ группе sɔ:ɣ || sa:ɣq или в 5 м типе sɔ:ɣq, в несингармонистических sɔ:ɣiq (самарк. sɔ:ɣiq) „желтый“ и т. п.).

Значительно большей (по числу говоров и по численности всех говорящих) является другая ветвь „огузского наречия“: в Хорезме, точнее в южном Хорезме, где к ней принадлежит, во-первых, говоры крупных городов: Хивы, Янги-Ургенча, Ханки, Шавата, Газавата, Хазараспа, Янгарыка и Шорахана, а с другой стороны и известная часть кишлячных говоров данных районов. Но все же и эта вторая ветвь, как и обе ветви, т. е. все огузское наречие в целом, оказывается во много раз менее многочисленным, чем прочие два наречия узбекского языка (чагатайское и кыпчакское). А значит, в вопросе о лит. узбекском языке и о его латинизации факты огузских говоров (столь сильно отличающихся, между прочим, от 2 других наречий) для нас должны будут иметь гораздо меньшее принципиальное значение, чем факты двух других наречий: к ним нужно будет обращаться лишь в частностях решения этого вопроса — тогда, когда речь будет у нас идти о литературно-языковой практике отдельного района⁵

падной группы тур. языков вообще) могли быть сохранены именно иканско-карабулакским и, наоборот, утрачены южно-хорезмским. Назову здесь: 1) замечательный случай сохранения архаической формации родительного падежа на -ьп / -ip, например, а:дьп в иканско-карабулакском значит имени (будучи гомонимом при этом к а:дьп — *твое имя*, например, а:дьп кутду — *как твое имя?*); 2) сохранение в иканско-карабулакском огузского (сравни азербайджанский и османский) глагола ol / oтаq ← *ol-таq *быть*, рядом с дублетным vol таq [в южно-хорезмских же говорах, по крайней мере в некоторых из них, нет уже и следов глагола ol; сравни подобное же выгеснение этого глагола через vol-в туркменском языке].

⁴ Зато нередко сохраняются инлаутные звонкие d и в особенности ɣ; например, а:дьп — *твое имя* и род. п. имени, а:ɣьп — *горький, густой* (про чай) [сравни южно-хорезмское а:ɣь, су:ɣьк — *жидкий* (про чай)] [сравни южно-хорезмское су:ɣь || андижанское и т. п. с'ɣьк] и т. п. и т. п.

⁵ Но с другой стороны мы не должны забывать и того обстоятельства, что некоторые огузские черты из южно-хорезмского распространились и на обе кыпчакские группы хорезмских узбекских говоров (на средне-

(а не всего Узбекистана), и именно о языковой практике Хорезма¹.

Ближайшим родственником „огузского“ узбекского наречия является туркменский язык (ибо он, как и это наречие, входит в юго-западную группу турецких языков вместе с языками азербайджанским и османским и некоторыми другими). Языковой же раздел между туркменским языком и огузским наречием произошел, очевидно, благодаря экономической дифференциации предков современных туркмен, с одной стороны, и предков современных огузских узбеков (напр., хивинцев и т. д.) — с другой. Одна часть мигрировавших в Среднюю Азию „огузских“ турок осталась кочевой и скотоводческой, — отсюда и вышел территориально обособленный туркменский нацколлектив; а другая часть осела на землю и перешла к земледелию, тем самым предопределив свое вхождение в узбекский нацколлектив²), экономической характеристикой которого и служит оседлое земледельческое хозяйство ирригационного типа. Этим самым предопределен был языковой отрыв от туркменской массы и, наоборот, усвоение некоторых языковых признаков, приблизивших „огузских“ узбеков к представителям 2 других наречий узбекского языка.

VI

Третье из узбекских наречий принято называть „кыпчакским“, или „собственно-узбекским“³ (по терминологии Поливанова).

хорезмскую и даже на северно-хорезмскую), т.е. на все узбекские языковые системы Хорезма: такова, в частности, формация будущего времени на -сај / сәк, о которой волея-неволея должна будет идти речь в вопросе о морфологии лит. узб. языка (см. ниже).

¹ Не должны забывать и того, что в отдельных пунктах южно-хорезмский оказывается совпадающим или с чагатайским (напр., *оу* в *даоқ || тақ*, отсутствие *джоканья* и т. п.), а в других пунктах с кыпчакским (напр., пункт, или признак „сары“ — южно хорезмское *саръ || кыпчакское — саръ* или в „окающих“ — *сәгъ*).

² А значит, предопределив тем самым и ход будущей языковой своей истории в русле узбекского языка, т.е. с другими (не огузскими) узбекскими коллективами (т.е. коллективами, имеющими общие — с данными огузскими узбеками — экономические черты), обмениваясь взаимными языковыми влияниями, т.е. метисуясь с диалектами этих неогузских узбекских коллективов.

³ Этот последний термин усваивается и заграничной лингвистической литературой (например, у R. Jakobson'a в *Etudes Phonologiques*. I. Париж, стр. 31 и др.).

Если ближайшим языковым родственником огузских узбеков был, как мы выше говорили, туркменский язык, то ближайшим к кыпчакскому наречию оказывается казакский (а также кара-калпакский)¹ язык. Все это — представители северо-западной группы турецких языков, мигрировавшие в Среднюю Азию уже в третью очередь, т.е. в относительно наиболее позднюю эпоху: уже после чагатайских и огузских узбеков.

Языковой раздел между кыпчакскими узбеками и казаками произошел, повидимому, опять-таки (как и языковой раздел между огузскими узбеками и туркменами в огузской языковой ветви), в силу экономической дифференциации: та часть мигрировавших в Среднюю Азию кыпчакско-турецких племен, которая перешла от кочевого быта к оседлому земледельческому хозяйству ирригационного типа, тем самым предприняла уже свой языковой отрыв от остальной кочевой части, свое вхождение в узбекский нацколлектив и — в языковом отношении — вхождение в состав узбекского языка, а значит и в русло истории узбекского языка. Этому неизбежно сопутствовало и известное языковое сближение с 2-мя прочими узбекскими наречиями (чагатайским и огузским), в частности усвоение кыпчакскими диалектами некоторых обще-узбекских² черт — напр., усвоение суффиксального чередования *а/ә* (вместо *а/е*, как в казакском)³.

¹ Не смешивать с фергано-каракалпакским диалектом, входящим в собственно-узбекское наречие узбекского языка (и именно в „окающую“ группу этого наречия, см. ниже). В качестве добавочного различительного признака я использую формы самонаименования тех и других каракалпак: представители кара-калпакского языка называют себя *қағадарға*, а племенное название ферганских кара-калпак обычно имеет форму *қәғадарға*. Итак, язык *қағадарға*’ов, диалект *қәғадарға*’ов.

² Термин обще-узбекский я здесь употребляю (в полной противоположности с традиционным пониманием слова „общее“ в историческом смысле) именно не в историческом, а чисто в статическом значении: обще-узбекскими я называю здесь черты, которые отнюдь не были общими для 3 наречий узбекского языка в эпоху их становления, а наоборот — черты, которые в настоящее время сближают эти 3 наречия между собой.

³ При этом более всего вероятно, что факты такого экономического, а вслед за ними и языкового раздела происходили не один, а несколько или много раз: в одном районе раньше, а в другом позже. Так в кураминских говорах узбекского кыпчакского наречия можно видеть случаи наиболее позднего перехода „из казаков в узбеки“ и в связи с этим кураминские говоры (например, Ахангаронской долины) на наших глазах, т.е. в современную уже эпоху, освобождаются от столь характерной для казакского языка черты, как *е* (вместо узб. *ә*), в суффиксах [сравни узб. сингармонистическ. *atlar / itlar* (в кыпчакском наречии *atlar / itlar*) и казакские *atar / itter* (*atlar / itler* в каракалпакском)]. Чередование *а/ә*, т.е.

К „кыпчакскому“ наречию относится чрезвычайно большое число узбекских говоров (а следовательно, и узбекского населения). Но все это почти исключительно кишлачные говоры (главным исключением являются „кыпчакские“ говоры городов [„базаров“] Северного и отчасти Среднего Хорезма: напр., Ходжели [qoʃeli], Кыпчак, Гөрлен [gørlɛp] и т. п.).

Расхождения между различными диалектами кыпчакского наречия не особенно велики, хотя количество этих диалектов, распределяющихся в зависимости от занимаемого района и от родовой принадлежности данных коллективов к тому или другому из крупных узбекских родов, — довольно значительно. Поэтому мы здесь можем не перечислять все эти диалекты, или группы диалектов, а только ограничиться несколькими их примерами.

Например: 1) в Хорезме — 2 группы хорезмских кыпчакских говоров: а) северно-хорезмская (джокающая); б) средне-хорезмская (йокающая);

2) подгруппа кураминских говоров;

3) казак-найманский диалект (рода Казак-Найман) и ближайше родственный ему ферганско-каракалпакский ди-

участие широкого переднего гласного *ə* (в огузских диалектах *e*) в суффиксах характерно, следовательно, для всех сингармонистических узбекских диалектов, кроме кураминского типа, где оно усваивается на наших глазах (т. е. где в настоящее время идет процесс вытеснения *a / e* через *a / ə*; в прочих собственно-узбекских диалектах этот процесс имел место уже в предшествовавшие эпохи). Это запоздание кураминского диалекта (в усвоении суффиксального *ə*) объясняется, как уже было нами сказано, поздним обузбечиванием Курамы (обузбечиванием в экономическом отношении), т. е. относительно поздним переходом к оседлому земледельческому быту (благодаря чему данные коллективы переставали быть казаками и становились узбеками). С напоминанием об этом исключении (которое, впрочем, скоро перестанет, вероятно, быть исключением: уже теперь, в частности в 1932 г., является сомнительным, что чаще говорится

в кураминских говорах: *ijtlɛg* или *ijtlɛr?* *kelɛdi* или *kelɛdi?* и т. д.) мы и можем называть суффиксальную функцию *ə* [в несингармонистических говорах, конечно уже без чередования *a / ə*] общеузбекским признаком — признаком современного узбекского языка в целом.

Примечание к примечанию. Так как у противопологающихся узбекам наиколлективов: казакского, каракалпакского, наконец, туркменского и киргизского, мы находим, наоборот, суффиксальное *e* (вместо узбекского *ə*), то может показаться соблазнительным связать эту черту с каким-либо экономическим моментом, общим для упомянутых национальностей. Но против этого надо решительно предостеречь: в туркменском и киргизском фонологическая ситуация совершенно иная (вернее две разные ситуации), что делает туркменский и киргизский языки вполне несоизмеримыми в данном отношении с казакским и т. п. А на чисто внешних совпадениях (т. е. просто на факте наличия суффиксального *e*) нельзя, разумеется, строить подобных гипотез.

алект,³ составляющие вместе так называемую „окающую“ группу внутри кыпчакского наречия (отличающуюся наличием фонемы *ɔ* в первых слогах слов);

3) Северно-узбекский диалект кыпчакского наречия — в к-ках Созак и Чола-корган, в Туркестанском р-не (в Казакской АССР), т. е. на крайнем севере узбекской территории. Напоминаем, что мы назвали здесь (в качестве примеров) лишь очень небольшую часть диалектов кыпчакского наречия.

VII.

Все узбекские диалекты кыпчакского наречия, за исключением средне-хорезмского, отличаются от 2 других наречий наличием звука *ʃ* (аффрикаты) вместо начального **j*, т. е. изменением начального **j* → *ʃ*. Этим объясняется то, что в узбекской терминологии этому наречию присвоено название „ʃoʃsʃ“, „ʃoʃsʃlaɣɪpɪd lɛhʃɛsi“, т. е. джокающего наречия, — наречия, характеризующегося джोकанием.

Что же касается до средне-хорезмских говоров (например, гөрленского и т. п.), то они уже утратили эту черту („джоканье“, т. е. „нач. **j* → *ʃ*“), заменив начальное *ʃ* вторичным *j*’отом (напр., *joq* или *jaq* „нет“) под влиянием экономической и политической зависимости от Хивы, а следовательно, и под языковым влиянием хивинского и т. п. южно-хорезмских говоров.

Кишлачные говоры кыпчакского наречия имеются в каждом из крупных районов (или областей) узбекской территории: и в Хорезме, и в самаркандском районе, и в ташкентском районе, и в Кашка-Дарье, и в Сурхан-Дарье и т. п., но всего меньше их имеется 1) в Фергане, 2) в северно-узбекском районе — в южных пределах Казакстана; в этих двух районах кишлаки кыпчакских узбеков (т. е. „ʃoʃsʃ-laɣ“) представляют собою уже относительную редкость; для Ферганы можно указать, например, на ферганско-каракалпакский диалект, а для северно-узбекской территории на говоры к-ков Созак и Чола-Корган на севере Туркестанского района.

³ Который, как мы уже упоминали выше, отнюдь не должен быть смешиваем с каракалпакским языком Каракалпакстана. Последний — самостоятельный тур. язык (хотя и из той же именно северо-западной группы турецких языков), а диалект ферганских каракалпаков входит в состав узбекского языка (и именно кыпчакского, или собственно-узбекского, его наречия).

Таким образом деление на сингармонистические и несингармонистические (или, что то же, на неиранизованные и иранизованные) диалекты проходит внутри одного только чагатайского наречия.

Но в виду того, что к чагатайскому наречию принадлежит большинство городских центров (а в деле установления стандартного или литературного языка городские говоры имеют преимущественное значение перед деревенскими),¹ нам придется обратить серьезное внимание именно

¹ Это утверждение (о преимущественной роли городских говоров в процессе койнэизации, и в частности в установлении литературной койнэ — стандартного литературного языка) можно рассматривать как частный случай положения, гласящего, что преимущественную активную роль во всяком процессе диалектологического скрещения играет диалект более высокостоящего в экономическом отношении района. Правда, против моего конкретного утверждения, что ни разу — в историях отдельных национальных языков — диалект деревни не выходил победителем в борьбе с диалектом города за право стать литературным или стандартным диалектом данного национального коллектива, приводились возражения — в виде единичных quasi-исключений из этого правила. Но здесь все дело заключалось в неясной терминологической формулировке, т.е. просто в недоразумении, возникшем ввиду неточного понимания моего утверждения. Именно: все приводившиеся мне, в качестве противоречащих „исключений“, конкретные примеры языковых историй (норвежская борьба между риксмоль и ландемоль, победа украинской речи в Киеве и Харькове над великорусским языком в революционную эпоху и проч., наконец, современная судьба башкирского литературного языка, основанного на башкирском, а не на татарском устном языке), — все эти случаи являются мнимыми исключениями, мнимыми противоречиями выставленному мною закону: ведь в них идет речь не о борьбе двух диалектов (деревенского и городского) одного и того же национального языка, а о борьбе двух разных национальных языков: 1) так в Норвегии под именем „риксмоль“, т.е. государственного, преимущественно городского, разумеется, языка выступает не норвежский язык, а язык бывших завоевателей Норвегии — датский язык, с которым и вступает в борьбу, под видом „ландсмоль“, настоящий норвежский язык (кроме того, ведь борьба эта далеко еще не кончилась, так что уже поэтому выводов о победе того или другого из этих языков нельзя делать); 2) еще более ясно положение дела в современной Украине: в Киеве и Харькове вытесняется украинским языком (который до того был, конечно, преимущественно деревенским) не городской диалект того же языка, а язык другой национальности — великорусский (дальнейшие комментарии, я думаю, излишни); 3) точно так же и в Башкирии: башкирский литературный язык должен был быть основан на деревенской речи, ибо городов у башкир вообще не было, а татарский язык, который мыслился (у моего оппонента) конкурентом башкирской деревенской речи, должен в данном случае рассматриваться, прежде всего, как чужой язык (между прочим, я не спорю, что при иных политических условиях литературным языком Башкирии мог бы стать именно казанско-

на это наречие, в частности на тот относящийся к нему факт, что большинство городских чагатайских говоров принадлежит к несингармонистическим.

Поставим же теперь перед собою прямо вопрос: какие предпосылки для судеб литературного языка и его графики вытекают из вышерассмотренного диалектологического состава узбекского языка.

Из вышеописанной картины чагатайского наречия, в связи с исторической ролью этого наречия в прошлые периоды средне-азиатских письменностей, вытекают следующие обстоятельства:

1°. Большинство городского населения, а следовательно, и большая часть узбекской интеллигенции старшего поколения, является представителями чагатайского наречия и чаще всего — несингармонистических (иранизованных) говоров этого наречия.

2°. Дореволюционный узбекский язык продолжал собою традицию старого чагатайского языка (в основу которого положены были древние говоры чагатайского наречия — как например, в основу языка „Хикмата“ Ахмеда Ясави был положен древний туркестанский говор и т. д. и т. д.); при этом, благодаря консервативности литературных традиций и узкой классовости дореволюционного узбекского лит. языка, он сильно отличался от живых (даже чагатайских) говоров — именно тем, что повторял в себе слова и формы чагатайской письменности, уже давным давно исчезнувшие или эволюционировавшие в живой речи.

Следующий вопрос: что вытекает отсюда в отношении судеб узб. литературного языка в революционную эпоху (— в первые ее 10-летия)?

Так как всякий стандартный язык, в том числе и письменный литературный язык, при смене политического господства одного класса другим классом, всегда заимствуется новой господствующей группой (вместе с прочими ору-

татарский, но это не могло произойти при совласти, национально-языковая политика которой создает национальную книгу и школу именно на родном языке).

Примечание к примечанию. Размеры статьи не позволяют мне разъяснить еще одно последнее мнимое исключение — именно сербский литературный язык Вука Караджича, так как в этом вопросе нужен был бы ряд дополнительных разъяснений. Но зато сам этот пример, после подобных вышеприведенных, а также и других, разъяснений, превращается из исключения в яркое подтверждение моего общего положения о преимущественной роли в процессах койнэизации экономически мощных районов и пунктов.

диями культуры)¹ и лишь после этого заимствования подвергается воздействию со стороны нового господствующего класса, то и с узбекским письменным языком дело обстояло точно так же.

Политическая революция 1917 года не создала нового генетически независимого узб. литературного языка (который был бы независим от дореволюционного письменного языка, а следовательно, — через него — и от древнего чагатайского языка). Наоборот, продолжалась та же самая письменно-языковая традиция, и лишь постепенно (и притом не сразу после 1917 года) стали вноситься новшества, согласно требованиям новых пришедших к господству классов: пролетариата и трудового дехканства.

Могли ли эти требования предъявляться к литературному языку непосредственно в первый же после 1917 года

период? Нет, разумеется, не могли — потому, что между трудящимися классами и узб. литературным языком стояла узбекская (городская по преимуществу) интеллигенция — со своими классовыми интересами, а значит и со своими требованиями к литературному языку и со своей специфической, следовательно, программой языковой политики.

Вот почему нам необходимо остановиться здесь на роли интеллигенции в языковом вопросе и на группировках, сложившихся в зависимости от отношения к этому вопросу.

Здесь нужно различать: 1) реакционную, или улемистскую; 2) либеральную, или джадидскую интеллигенцию; а в дальнейшем нам придется говорить и о той третьей положительной части интеллигенции, которая оказалась склонной учитывать интересы трудящихся классов и смогла усвоить советскую точку зрения в языковой политике.

Что касается дореволюционной интеллигенции и духовенства, то ее позиция была вполне определенной и могла быть выражена словами: и литературный язык, и письмо должны оставаться прежними: не нужно никаких новшеств, никаких изменений. Это вполне соответствовало и классовым интересам этой группы (ибо в ее выгодах было сохранить все трудности старой арабской графики и далекого от живой речи литературного языка) и религиозным мотивам, а наконец, и навыкам, вынесенным из обучения в медресе.

Либеральная, или джадидская интеллигенция не могла, конечно, солидаризоваться с языковой программой консерваторов и боролась против них за известный прогресс и реформу в области языка и графики.

Принимая вместо корана учебник естественной истории, вместо старых методов обучения — западную педагогику и т. д., эта либеральная часть узб. интеллигенции должна была, естественно, высказаться и в пользу рационализации графики, и с другой стороны, соглашалась и на известный сдвиг в составе литературного языка (в сторону живой речи и в сторону создания новых, турецких по этимологии терминов).

Но все эти новшества мыслились приемлемыми лишь постольку, поскольку они примиримы были с узко-националистической и пантюркистской идеологией, характеризовавшей основное ядро „джадидизма“. Именно: графика должна быть реформирована (и пускай идет даже на разрыв с арабскими нормами буквоупотребления), но эта графика должна оставаться узбекской, т.-е. турецкой, графикой — отнюдь не теряя национального своего облика (отсюда понятно враждебное

¹ Сравни преемство классового — мнимо-общее русского — стандарта (объединявшего господствовавшие соцгруппы русской национальности в междурайонном масштабе) стандартным русским языком революционной эпохи. Разумеется, после передачи эстафеты преемственной истории стандарта новым господствующим группам (в данном случае, т.-е. в 1917 году рабочему классу во главе с революционным активом) начинается отбор и ревизия наследства, именно: стандартно-языкового наследства (точно также, как это происходит и в отношении других культурных ценностей, наследуемых от предшествующей соц. эпохи): уничтожается то, что не соответствует реальным потребностям (а также и вкусам) новой господствующей соцгруппы, так была, в частности, ликвидирована старая графика и орфография с „ятью“, „фитой“, различием „ья“ и „ье“ и т. п., которая была наряду кастовой интеллигенции царизма (так как трудная орфография увеличивала число отличительных признаков и усугубляла тем самым грань между интеллигентом и неинтеллигентом) и которая, наоборот, противоречила революционному лозунгу демократизации письменности и книжной культуры вообще; вот почему в 1917 году, из большевистской печати только „Новая жизнь“ М. Горького выступила в защиту новой орфографии (напечатав, между прочим, мою статью по этому поводу); вся же буржуазная печать была против и высмеивала новую орфографию (подобно и современным заграничным белоэмигрантам). Такая же чистка идет и в области словаря и фразеологии: сравн. выбрасывание слов, противоречащих классовой психологии новой господствующей соцгруппы (например: ликвидация или же юмористическое и т. п. „снижение“ значения, таких слов, как *господин*, *милостивый государь* и т. п.), а кроме чистки, разумеется, и создание новых слов и выражений и т. д.

Все эти новшества ложатся именно на преемственно-унаследованный стандарт предшествующей эпохи, — таков общий закон. Если бы было иначе, т.-е. если бы с момента революции один языковый стандарт был бы сразу ликвидирован и сразу создан был бы новый стандарт на почве другого соцгруппового и территориального диалекта, то тов. Ленин (как и старый революционный актив большевиков вообще) должен был бы с ноября 1917 года сразу заговорить на новом языке, вполне отличном от того стандартного русского языка, на котором т. Ленин и другие большевики говорили в 1913, 1914, 1915 и 1916 годах.

отношение к латинизации, как к интернациональному, или европейскому, с их точки зрения, письму). Что же касается заимствований или подражаний русским образцам, то они ни в коей мере недопустимы: новые слова должны фабриковаться на манер „мокроступов“ из турецких корней, но взятый русский термин казался непростительной отрыжкой колонизаторства.

Приведем для иллюстрации следующий небольшой факт.

На II съезде узбекских работников просвещения в 1922 году (т.е. за 4 года еще до общесоюзного декретирования латинизации) были прочитаны доклады т. Усман Ходжаева и проф. Поливанова о латинском алфавите для узб. языка.

Но допустить в серьез замену арабицы латинизацией съезд в то время никак не мог, и отнесся довольно холодно к самой идее латинизации, вынеся постановление: признать латинское письмо допустимым для желающих, или факультативным, дублетным, вторым письмом — после арабицы.

Однако, когда опираясь на эту резолюцию, докладчики попросили напечатать под арабским шрифтом заглавия газеты „قىزىل بايراق“ то же заглавие латинскими буквами: „qizil vajraq“, то на это последовал решительный отказ со стороны редакции газеты.

Когда же один из докладчиков предложил в состав этого „второго, дублетного“ алфавита [и именно в тот вариант лат. алфавита, который предназначался для сингармонистических диалектов) включить, на ряду с латинскими буквами, фигуры *ъ ы*, повторяющие собою начертания двух русских букв, именно — ликвидированной в 1917 году *ф* и *ты* и мягкого знака, т.е. те же самые буквы, которые ныне входят в состав узбекской латиницы, то тогда — в 1922 году — это вызвало решительное возмущение: „Ни одной русской буквы, ни одного намека на что-либо русское.“¹

Основным исходным положением в языковых взглядах националистической и чагатайствующей интеллигенции служило следующее:

1°. Узбекский литературный язык уже существует (т.е. существовал уже к моменту революции); следовательно, в

¹ „И зачем нам брать те самые именно русские буквы, от которых сами русские теперь (т.е. в русской орфографии 1917 г.) отказываются?“ — добавляли к этому некоторые из делегатов съезда, путая при этом устранение твердого знака на конце слов с мягким знаком (не говорю уже о том, что решать вопрос на основании формы буквы без рассмотрения ее звукообозначительных функций просто недопустимо).

революционную эпоху надо считаться прежде всего с фактами этого, уже существующего, лит. языка.

Конечно, в том, что узб. лит. язык существовал в дореволюционную эпоху, нет никаких оснований сомневаться. Но ведь для языкового строительства революционной эпохи можно было бы избрать и совершенно иной отправной пункт: именно — требования и интересы трудящихся масс; и опираясь на этот исходный пункт, можно было бы решиться даже вовсе зачеркнуть дореволюционную языковую традицию и строить новый революционный язык, максимально приближая его к массовой живой речи; языку узб. пролетариата и трудового дехканства. Но этот последний — максимально революционный — путь был совершенно немисл с точки зрения националистической, пантюркистской и чагатайствующей интеллигенции, для которой дорога и ценна была историческая роль старого чагатайского и служившего его продолжением дореволюционного узбекского литературного языка, но отнюдь не современные запросы узб. пролетариата и дехканства.

2°. Вторым характерным моментом этой программы был момент националистический и пантюркистский: узбекский лит. язык мыслился: 1) как один из письменных турецких языков — именно средне-азиатский письменный турецкий язык, продолжатель чагатайского языка, игравший и способный продолжать играть роль орудия объединения средне-азиатских турецких народностей;¹ 2) во-вторых, этот язык мыслился как чисто и насквозь турецкий (тюркский) язык; во всяком случае его надо было выдавать за таковой, для чего нужно было всячески замалчивать и игнорировать факты иранского (таджикского) влияния — и на узб. лит. язык, и на всю вообще узбекскую нац. культуру, которой искусственно сообщался чисто турецкий облик.²

¹ Напоминаю опубликованный в 1918 году декрет Турк. республики, подписанный председателем ТурШИК'а Ногайбаковым, где говорится, что государственным языком Туркеспублики является тюркский язык.

² Продолжение этой пантюркистской тенденции, выражавшейся в замалчивании всего иранского, мы воочию видим и вплоть до настоящего времени (1933 г.): сравн., например, попытку вычеркнуть из моей классификации узбекских диалектов упоминание о несингармонистических иранизованных диалектах а затем — борьбу против самого термина „иранизованный“. Добавлю еще, что в декрете 1920 года (в замену Ногайбаковского „тюркского языка“) государственными языками Туркеспублики объявляются узбекский, киргизский и туркменский, таджикский же язык (как нетурецкий) оказывается забытым; в том же году открываются 3 инпроса: узбекский, киргизский, туркменский (первые 2 в Ташкенте, туркменский ин-

А из этого вытекают следующие конкретные пункты этой программы (3^о и 4^о).

3^о. Современный узб. лит. язык, в силу своей преемственной связи с чагатайским и дореволюционным узб. лит. языком, и в виду выпадавшей на него исторической задачи пантюркистского характера, должен был попрежнему быть языком, отличным от живых узб. говоров.¹

4^о. Поскольку узб. лит. язык мыслился таким образом чисто турецким (т.е. поскольку искусственно замалчивалось всё, привнесенное иранским — таджикским влиянием), узб. лит. язык должен был быть обязательно сингармонистическим языком, т.е. должен был повторять в себе черту, характерную для всех типичных турецких (негибридизованных) языков.²

Отсюда вытекают следующие шаги, осуществлявшиеся на практике:

1) пантюркисты усиленно старались проголосовать сингармонистический характер узб. языка — и при том не только узбекского литературного языка, но и узбекского языка вообще (вместо того, чтобы организовать научное исследование узб. диалектов и решать вопрос уже апостериорно). На орфографических и всякого рода иных конференциях предлагался на голосование вопрос: „Является ли узбекский язык

прос в Мерве), но таджики и здесь оказываются забытыми: таджикский вопрос возникает гораздо позднее (— когда Туркестан перестает быть „Туркестаном“ и становится Средней Азией).

¹ Сравн. еще более явное и упорное отстаивание этой разницы между литературным и живым языком в программе таджикских (антисоветских по характеру своей языковой политики) языковых строителей, — в отношении таджикского литературного языка, который в их руках превращался просто в копию зарубежного персидского языка, — языка персидских феодалов и буржуазии.

² В подспоре к этому пункту пантюркисты привлекали, конечно, и вышеуказанное первое (1^о) положение: дореволюционный узбекский язык был сингармонистическим, значит сингармонистическим должен остаться и современный литературный язык. Напомним, кстати, что несмотря на передачу чередования широких гласных в роде *دا، ئى، ئا، ئو* и т. п., арабская графика не имела средств выразить сингармонистическое чередование узких и полуузких гласных: *и* и *у*, *б* и *г*, *о* и *о* изображаются одинаково (в узб. реформе 1923 г.) — буквами *ب، گ، و*. Таким образом не все сингармонистические факты передавались арабицей. Тем не менее нельзя не согласиться, что в основу графики традиционного литературного языка, как и старого чагатайского, были положены сингармонистические диалекты и лишь обилие противоречащих сингармонистическим нормам орфографических уклонений и просто ошибок указывает нам на то, что этим сингармонистическим литературным языком в большинстве случаев должны были писать представители несингармонистических говоров (в большинстве городов и в известных кишлачных районах).

сингармонистическим?“, а в ответ на это не разбиравшаяся в деле делегатская масса послушно голосовала пантюркистскую по сущности дела резолюцию: „Да, в узбекском языке существует сингармонизм, узбекский язык — сингармонистический язык“.

Голосование этого вопроса ясно доказывает, что фактически дело обстоит совершенно иначе, что объективное научное решение этого вопроса противоречит этим резолюциям.

Ибо правильным было бы сказать: некоторые узбекские диалекты сингармонистичны, а другие несингармонистичны.

Ведь никому в голову не придет голосовать сингармонизм казакского, киргизского, туркменского, башкирского и проч. типично-турецких языков, которые действительно являются насквозь, т.е. во всем своем диалектическом составе, сингармонистическими.

А поскольку здесь у пантюркистов возникла потребность подтвердить свою позицию голосованием, ясно, что эта позиция была научно неверна. Ясно, что здесь, вопреки объективным и научно-выясненным фактам, некая политическая группа старалась навязать всему узб. языку, — языку в целом, — сингармонистический, т.е. иными словами, типично-турецкий характер, сыграв этим на пользу пантюркистской пропаганде и замалчивая в то же время исторический результат наличия иранского элемента в формации узб. языка и узб. культуры.

С другой стороны, сама постановка таких научных вопросов на голосование делегатов — это фальшивый, по существу дела недопустимый прием: ведь это то же самое, что голосовать на какой-нибудь общественной конференции химический состав воды: H_2O или не H_2O ?

Тем не менее, несмотря на явную недоброкачественность и абсурдность подобных приемов, результаты их глубоко вкоренились в просвещенческой массе и с ними сплошь и рядом продолжаешь встречаться в школьном преподавании и даже на заседаниях Терминкома (как часто, например, приходится от совершенно чуждых лингвистике лиц слышать внушенное им убеждение, что „все узб. говоры — сингармонистичны“).

Впрочем этому не нужно удивляться уже потому, что сама причина этих выкриков и искусственных (путем голосования) утверждений сингармонизма узб. языка, — причина, состоящая в пантюркистской идеологии и в пантюркистской политике (определенных групп узб. языковых строителей)

вовсе не исчезла, а продолжает существовать — только в прикрытой, маскирующейся форме.

И поскольку партия объявила решительную борьбу с пантюркизмом и местным национализмом, необходимо, по моему, ликвидировать и их позиции на языковом фронте.

Теперь уместно будет назвать еще один, последний, но кардинально важный пункт националистической пантюркистской языковой программы. Это следующее положение:

Узб. лит. язык должен быть абсолютно и во что бы то ни стало одним единственным лит. языком; иначе говоря, с точки зрения этих группировок, совершенно немыслимо и принципиально недопустимо было бы согласиться на существование двух или нескольких письменных литературных языков — для разных наречий или для разных районов (наприм.: для Хорезма, с одной стороны, для Ферганы и т. п. языковых районов, с другой стороны и т. п.).

Необходимо оговориться, что упоминая о такой возможности (существования двух или нескольких письменных литературных языков), я вовсе не говорю еще, что с моей точки зрения необходимо создать эти литературные языки, но дело в том, что с точки зрения партии и декретов Наркома — это принципиально возможно (сравн., например, существование 2 лит. языков у осетин,¹ 2 лит. языков у мордвы);² с точки зрения пантюркистов — это дело вовсе немыслимое и принципиально-невозможное: наоборот единый (и при том, как выше было сказано, принципиально отличный от живой речи), „чагатайский“ лит. язык должен быть с их точки зрения, во что бы то ни стало, навязан узбекам всех наречий и всех районов. Им возражают, что дехкане (например, союз центрального Узбекистана или же хорезмцы) не понимают этого языка. — Но не менять же из-за этого язык? Что для нас дороже — наши принципы или интересы дехкан? Пусть же дехкане учатся „чагатайскому“ языку — отвечают чагатаисты.

Эта языковая программа, — объединения на почве „чагатайского“ наречия господствовала в фактической языковой политике Узбекистана до 1929 года.

Лишь на конференции 1929 г. выявился отход от чагатаизма, хотя все таки на основе обязательного единства лит. языка, не равного ни одному живому говору.

¹ Именно иранский и дигорский лит. языки.

² Именно мокшанский и эрзянский лит. языки.

Был создан „сводный“, или „сборный“, иначе говоря эклектический лит. язык. Впрочем, по сути дела, это был всё-таки чагатайский язык, но со включением единичных морфологических особенностей других наречий (например, формы *Progressivi*, т.е. длительного настоящего на *jatyɣ jatyɣ-tap*, *jatyɣsan* и т. п. по подобию живых форм кыпчакского наречия, формы будущего на *çaq / -çäk* из хорезмских городов и т. п.).

Сдвиг — знаменательный, но все же далекий от более или менее удовлетворительного разрешения вопроса.

На этой стадии мы официально находимся, в сущности, и в настоящее время. Но зато потребность пересмотра литературно-языкового вопроса, и именно с точки зрения потребностей узбекского пролетариата и трудового дехканства различных районов, явно назревает и становится осознанной передовыми деятелями узб. языкового строительства.

В плоскости этих реформ и лежат наши ближайшие задачи.

Х

Переходя к вопросу о латинизации узбекского письма, я ограничусь кратким перечнем отдельных положений, суммирующих историю вопроса и современное состояние узбекской латинизированной графики.

1. За сохранение без изменения старого арабского письма (существовавшего до революции) стояла лишь небольшая в сущности группа наиболее реакционной интеллигенции, прежде всего духовенство (аргументировавшее религиозными мотивами и потребностями),¹ наиболее отсталые или же реакционные элементы учительства, контрреволюционная буржуазия и т. п.

2. Либеральная интеллигенция стояла за реформу, но лишь в виде рационализованной арабской графики („реформицы“, официально принятой на бухарском совещании в Октябре 1923 г.).

3. Эта реформа была половинчатой, но зато вполне удовлетворявшей националистическим и пантюркистским (а также и панисламистским) взглядам либеральной интеллигенции.

4. Подлинно-революционной реформой графики, отвечающей целям советской национально-языковой политики и сов. строительства, была лишь латинизация. От латинизации вы-

¹ Необходимость изучения корана, графические формы которого близки, конечно, к старой, а не реформированной узбекской графике и т. д.

игривала прежде всего трудящаяся масса: пролетариат, крестьянство. Латинизация была наилучшим и громадным по своему значению средством облегчения ликбеза и советской культуризации узб. масс.

5. В Узбекистане, как и в других тур. республиках Союза, не могло обойтись без борьбы между сторонниками „реформы“ и „латинизации“. Но эта борьба была в Узбекистане менее крупной, чем в Татаристане и Казакистане (причина изложена в статье Поливанова в книжке „За марксистское языкознание“, а также в журнале „Новый Восток“).

6. Выгоды латинизации (именно для интересов трудящихся масс и для сов. просвещения) настолько явны, несомненны и бесспорны, что они должны были осуществиться при любом (даже при наиболее ошибочном разрешении) частной проблемы о составе узб. латинизованного алфавита, (— в зависимости от установки на тот или на другой тип узб. говоров). Вопрос может идти только насчет б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й полезности того или другого состава лат. алфавита, но не о возможности вреда от лат. алфавита.

7. Главным пунктом возможных расхождений в области вышеупомянутой частной проблемы служил для Узбекистана вопрос о числе гласных букв (вопросу этому посвящена другая моя статья).

В официально принятом алфавите имеется 9 гласных букв по числу гласных фонем в большинстве сингармонистических говоров узб. языка; именно буквы *i, ь, у, и, о, е, а, э*.

Но если бы ориентация взята была на несингармонистические говоры и в частности на говоры 1-го и 2-го типов, достаточно было бы шести гласных букв: *i, и, о, э, а, э*.¹

8. В вопросе о возможном выборе того или иного варианта надо руководиться не только статистикой и диалектологическими данными², но и соображениями педагогического и коллективно-психологического порядка.

¹ Некоторые из узбекских деятелей мыслят возможным обойтись и пятью гласными буквами (вместо *э* и *а*, употребив один только знак *а*), но это весьма рискованное упрощение. Однако скачек этот (с 9 на 5 вместо 6 букв — с тем, чтобы через несколько лет опять сделать один шаг назад: с 5 на 6) вполне понятен психологически, — он вполне соответствует диалектическому ходу реформы, естественному для стихийных процессов коллективного мышления (— из одной крайности в другую, чтобы затем прийти к некоему синтезу в виде средней величины).

² Вместе, конечно, с тем общим положением, что язык более высоко-стоящего в экономическом отношении района имеет большие шансы на становление стандартным (литературным) языком и что поэтому городские говоры заслуживают гораздо большего внимания, чем деревенские (сравни.

В данном случае важно учесть следующее обстоятельство. Принятие 6 гласных букв означало бы очень небольшое, сравнительно, неудобство для представителей языковых систем с 9 гласными фонемами (сингармонистических, в массе своей кишлачных говоров).¹ Но обратное—принятие 9 гласных букв (не представляющее, разумеется, никаких трудностей для представителей этих сингармонистических говоров) — представляет зато колоссальные трудности для другой половины узб. населения: для представителей несингармонистических, т. е. городских по преимуществу, говоров, ибо последним приходится помнить словарное распределение 3 пар парных букв: *i ~ ь, у ~ и, о ~ о*, иначе говоря перед ними здесь втрое более сложная трудность, чем та трудность старой русской орфографии, которая создавалась в ней наличием буквы „ять“, т. е. искусственным различением парных букв *е* и „ять“.

Напомним, что доводы в пользу уничтожения букв *ь* и *у* *о* были изложены мною в 1928 году в газете „Правда Востока“ от 22 октября (в статье „Невозможно молчать“) и там же было сделано предсказание (прогноз) о том, что „рано или поздно — через пять, десять или двадцать лет“ жизнь заставит отказаться от этих лишних букв. Прошло ровно пять лет (1928—1933), и жизнь действительно убеждает нас в верности моего прогноза, несмотря на все попытки замолчать его².

показания фактической истории всевозможных языков различных народов Европы и Азии, о чем я уже упоминал выше).

¹ Надо отметить, что принятие 6 гласных букв вовсе не означает еще отказа от сингармонизма: представители сингармонистических говоров смогут различать, например, слова *volqan* ~ *volqan*, *volsa* ~ *volsa*, пища их (при системе из 6 гласных букв) следующим образом: *volqan* ~ *volqan*, *volsa* ~ *volsa*. В таком случае, сингармонистические чередования окажутся выраженными в той же мере, в какой они были выражены в арабской „реформе“ (сравни. написания *بولقان* *بولقان*, *بولسا*, *بولسا* и т. д. и т. д.).

² Действительно, не может не показаться странным, что теперь — в 1933 году — мне не удалось ни в одной газете поместить мою новую статью на данную тему (о реформе состава алфавита), хотя эта статья была направлена и рекомендована к напечатанию Терминкомом. Неужели все, что я сделал конкретного в области латинизации — напр., то, что еще до революции я принимал активнейшее участие (вместе с С. Новгородовым) в выработке первой из турецких латиниц — в якутской латинице 1917 года (когда профессора-востоковеды, кроме Бодуэна, негодовали на нас за выбор латинского, а не русского алфавита); то, что я уже в 1922 году докладывал съезду готовый состав узбекской латиницы; то, что я в 1923 году опубликовал брошюру „Проблема латинизации тур. письменностей СССР“; то, что я в 1926 году, во второй моей брошюре, сигнализировал опасность „разнобыя“ при децентрализованном проведении латинизации (опас-

9. Поэтому в дальнейшей реформационной деятельности, которая стоит перед нами в области узб. языкового строительства (на ряду с вышеуказанной ревизией общих установок о лит. языке, его единстве и т. д.), следует пересмотреть и только что отмеченный пункт: число гласных букв узб. алфавита (9 или 6).

Разумеется, конечный ответ на этот вопрос может быть дан только в свете того или другого определенного решения вышеупомянутых общих вопросов: об единстве узбекского лит. языка или же дуализме узбекских лит. языков и т. д. (при двух лит. языках в одном может быть сохранено 9, в другом, по моему мнению, 6 гласных букв).¹

ность, которая стала очевидной для всех на следующий год — в 1927 году); наконец, то, что я в 1928 году указал на вышеназванную ошибку в составе узбекского лат. алфавита (не говорю уже об участии в пленумах, в Научном Совете ВЦКНТА и в „Культуре и Письменности Востока“), — неужели все это, говорю я, недостаточно для того, чтобы позволить мне выступить по вопросу, прямо относящемуся к моей специальности, перед узбекистанской общественностью? Неужели нельзя мне простить, что я указал ошибку моих оппонентов — ошибку, которую они сами в настоящее время признают ошибкой?

¹ Имею в виду число качественно-различных фонем (в 1-м самаркандском и во 2-м ташкентском типах). Вторичная, получившаяся благодаря заместительному удлинению (Ersatzdehnung) долгота гласных (главным образом гласного *ə*), например, в словах *və'zi*, *jə'ni* и т. п., уже имеет свое обозначение посредством апострофа ('). А других видов долгот в данных типах (как и в типах 3, 4, 4-A, 5 и 6) не существует: древние (условно — „первичные“) долготы сократились, а комплексы *uo*, *ij* отнюдь не являются здесь долгими гласными фонемами (какие имеют место, например, в „огузском“ наречии, например, в икано-карабулакских словах [su:] *voda*, [tu:t] *тутовое дерево*, [i:rik] *живой*, [i:rik] *крупный* и т. п.). Это — дифтонгические сочетания двух фонем: гласной и согласной. Таким образом, качественно-различных фонем здесь только 6, а к количественным различиям фонем относится только дифференциация вторичных долгот, т. е. явление редкое и, главное, уже имеющее свое графическое выражение (добавлю, что эта дифференциация вторичных долгот оказывается в значительной мере чуждой массовому языку, главным образом дехканским соц.-групповым говорам [если мы будем иметь в виду всю совокупность узбекских диалектов, утративших „первичные“ долготы])

Что же касается отдельных несингармонистических типов: 3-го (маргелано-кокандского), 4-го (андижано-шерхонского) и 4-A — „Умлаутной группы“ то состав этих вокализмов настолько своеобразен, что должен быть учитываем в вопросе о числе гласных букв узбекской латиницы, именно, как говорящий в пользу 6, а не 9 гласных букв — несмотря на наличие в этих говорах 7 (в 3-м типе) и даже 9 (в 4-м и 4-A типах) качественно-отличных гласных фонем.

Что же касается второго варианта сократительной реформы (от 9 букв не к шести, а к пяти гласным буквам), то он встречает, прежде всего, то возражение, что ни в одном из узбекских диалектов нет пяти-фонемного вокализма: минимальное число гласных фонем — шесть. Следова-

10. В связи с оценкой достижений и предстоящих перспектив совершенно бесспорными могут быть сочтены следующие два вывода:

1. Путь латинизации — единственный достойный октябрьской революции путь графической реформы и сходить с этого общего пути или же выбирать какую-либо новую общую форму латинизации в замену НА — невозможно ни в коем случае: латинизация в форме НА уже оправдала себя и уже успела стать настоящим письмом трудовых масс и нового революционного поколения.

2. В области предстоящих реформ лит. языка и его графики задачей нашей должно быть приближение к живой массовой речи (с полным зачеркиванием принципиальных отличий лит. языка от разговорного) и безусловный научный анализ тех приемов, которыми должны быть облегчены усвоение и пользование письменностью в широких (и диалектологически различных) слоях узбекского пролетариата и трудового дехканства.

Ташкент, 1933 г.

тельно, этот вариант „сокращения алфавита“ допустим лишь как заведомо условный (и кроме того, и в качестве условного он мог бы удовлетворить лишь часть узбекского населения, т. е. лишь часть узбекских диалектов).

Замечу, кстати, что в моей брошюре „Проекты латинизации турецких письменностей СССР“ (в феврале 1926 г.) я привожу оба последних варианта: и с 6 и с 5 гласными буквами, но второй из них считаю приемлемым лишь с рядом оговорок. Подробнее об этом я говорю в отдельной моей работе (1933 г.), посвященной проблеме сокращения узбекского алфавита. Здесь, же во избежание недоразумений, должен подчеркнуть следующее: хотя из двух „сократительных“ вариантов я и считал возможным доказать предпочтительность варианта с 6 (а не с 5) гласными буквами, однако, самый этот вопрос — о выборе между 5 и 6 — я считаю в сто раз менее важным, менее значительным, менее острым, чем то общее принципиальное решение о необходимости сокращения (с 9 гласных букв), т. е. о необходимости ликвидации букв *ь*, *у*, *ө*, в котором в настоящее время (в 1933 г.) со мной соглашаются все, кажется, мои бывшие оппоненты (т. е. те, кто отстаивал буквы *ь*, *у*, *ө* в 1928 году).